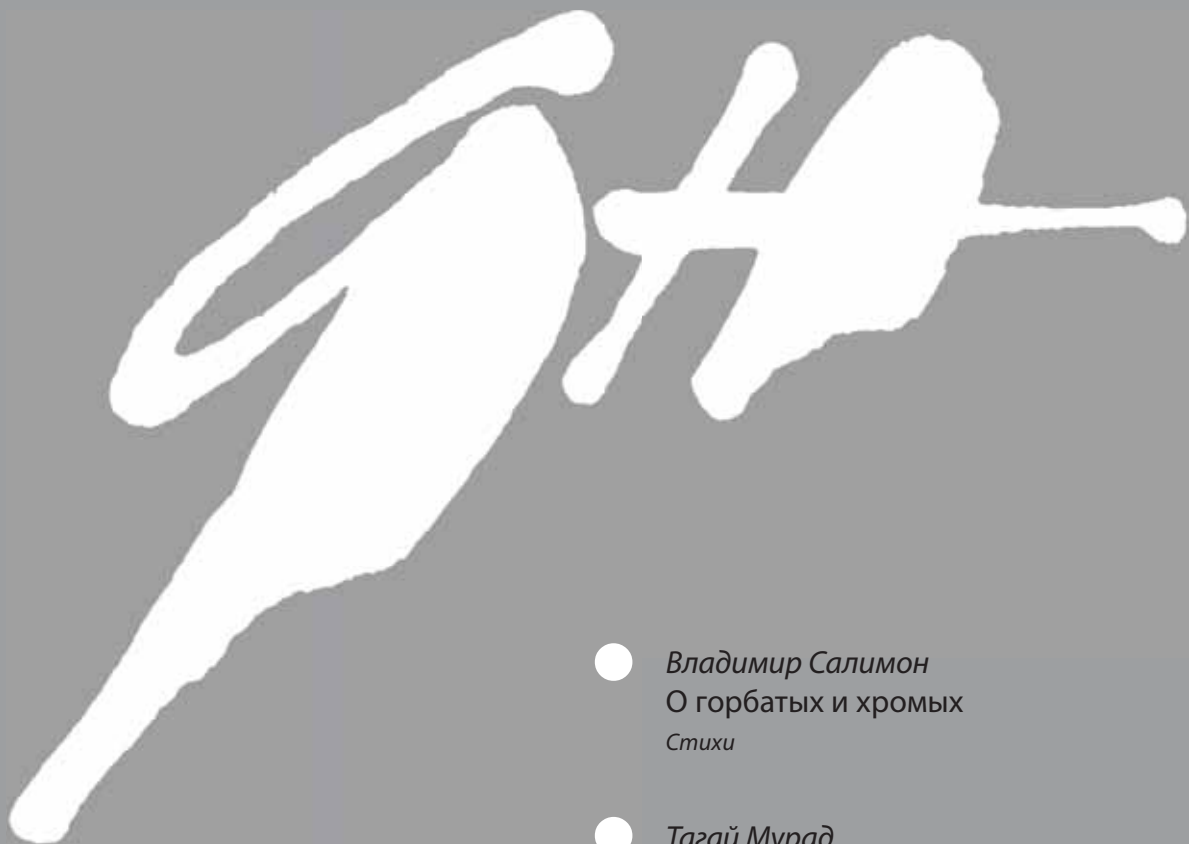


ДРУЖБА НАРОДОВ



● *Владимир Салимон*
О горбатых и хромых
Стихи

● *Тагай Мурад*
Тарлан
Роман. С узбекского

● *Владимир Некляев*
Реинкарнация
Рассказ. С белорусского

● *Владимир Делба*
Сухумские антики
Чудаки, сорванцы и поэты недавнего прошлого

● *Ольга Балла*
Рах Sovietica
«Национальные» номера «толстых» журналов



2'2016

Виктор Дятлов

«Черкизон», «Шанхай» и другие...

Этнические рынки в современной России

Феномен, уходящий в прошлое

Ярчайшая примета городской жизни постсоциалистической эпохи — большие и маленькие, иногда огромные, рознично-мелкооптовые рынки под открытым небом. Бывшие стадионы, закрытые фабрики, пустыри, заполненные бесконечными рядами торговых прилавков, контейнеров, ангаров, наскоро приспособленных для торговли заводских цехов. Тысячи, порой десятки тысяч, торговцев и покупателей, огромные потоки товаров, денег, услуг. Первозданный на первый взгляд хаос, в котором, как в муравейнике, сформировался свой порядок, система влияния и власти, своя логика отношений и связей.

Рынки стали неотъемлемой и чрезвычайно важной частью процесса краха социалистической модели организации общества и последовавших вслед за этим глобальных трансформаций. Они возникают на огромном пространстве от Китая до Польши и Германии. Вкупе с гигантским по масштабам и значению «челночничеством» они сформировали новый феномен экономической, социальной, политической, культурной жизни.

Это были не пережившие советский строй рудименты восточных базаров и ярмарок. Традиционных базаров вообще. Это и не советские «колхозные рынки» и барахолки (вещевые рынки), пусть даже гипертрофированно разросшиеся в новых условиях. При некотором внешнем сходстве, иногда при генетическом родстве с ними, — это качественно новый феномен. Новизна предопределялась контекстом — особыми экономическими и социальными функциями в переходную эпоху, огромной ролью, новыми людьми и новыми отношениями.

Торговлей на рынках стали заниматься бывшие советские люди, выросшие в обществе, где профессиональная рыночная деятельность не просто запрещалась государством, но и осуждалась общественным мнением и моралью. Пришла масса

Дятлов Виктор Иннокентьевич — доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета. Постоянный автор «Дружбы народов». Последние публикации в «ДН»: «Граждане ближнего зарубежья. Динамика формирования стереотипов» (№ 4, 2011); «Великие ксенофобии». Взаимовлияние и взаимодействие на опыте России (№ 7, 2011); «Россия в предчувствии чайнатаунов» (№ 3, 2012); «Благовещенская трагедия»: историческая память и историческая ответственность (№ 10, 2012).

людей без рыночного прошлого, без соответствующих традиций, ценностных установок, навыков и опыта. Пришли советские люди, вынужденные жить, работать, взаимодействовать *вне* советской ситуации.

Рынки стали механизмом экономического выживания для огромного количества людей, потерявших прежний статус и источники доходов. Торговля для многих, а может быть и большинства из них, была на первых порах способом существования, а не механизмом получения прибылей. Для наиболее предприимчивой, энергичной, мотивированной и удачливой части — это была стартовая площадка для занятия бизнесом, предпринимательством в полном смысле этого слова.

Рынки обрели и другие функции, критически важные для общества. Они стали на какое-то время ключевым элементом механизма снабжения в условиях полного краха социалистической распределительной системы, жизненно важным институтом снабжения для слоев с низкими доходами.

Довольно быстро рынки стали логистическими узлами новой *системы* торговли, почти сразу трансрегиональной и трансграничной. В качестве начальных и конечных терминалов системы челночной торговли, мест, где формировались торговые потоки и где они заканчивались, рынки интегрировались в глобальную систему отношений — не только торговых, но и социокультурных.

В качестве механизма по продвижению на формирующиеся потребительские рынки китайских и турецких товаров, они практически сразу стали притягивать экономическую активность мигрантов, в том числе и трансграничных, превратившись в место и механизм их экономической, социальной и культурной адаптации. Масштабы этого явления оказались таковы, что многие из них стали в глазах городских сообществ этническими — китайскими, киргизскими, кавказскими.

С точки зрения горожан, китайские рынки, например, это место, где китайцы торгуют китайскими товарами, где звучит китайский язык и представлена китайская бытовая и деловая культура. При этом в чистом виде такой набор встречается крайне редко.

«Этнические рынки» стали играть важную экономическую, социальную, символическую роль в городском пространстве. Они быстро переросли простой формат торговых площадок и превратились в сложные и саморазвивающиеся социальные организмы, сгустки социальных связей, сетей, конфликтов, механизмов власти и контроля.

Концентрация иноязычных и инокультурных мигрантов быстро сделала этнические рынки крупным, возможно, крупнейшим этническим кластером на карте многих городов, особенно востока России. В отличие от других, не очень видимых кластеров (гостиниц, общежитий, например), рынки — это публичная сфера. Здесь постоянно встречается и тесно общается масса людей. Это место контакта — повседневного и обыденного — представителей различных культур. Место и механизм их взаимной адаптации.

С первых дней своего существования этнические рынки стали очень важным, видимым и обсуждаемым объектом внимания в городском сообществе, предметом управленческих решений властей всех уровней и их головной боли по поводу сопровождающего их сгустка проблем и конфликтов.

Рынки приобрели огромное символическое значение, олицетворяя в глазах

населения массу новых форм жизни, экономических и культурных практик, способов социальных контактов и отношений.

Постсоветская эпоха в целом закончилась. Или заканчивается. Вместе с нею уходит в прошлое, в историю и порожденный ею феномен. Рынки не исчезают совсем, но меняются сами, главное же — меняются их функции и место в сообществе. Они маргинализируются, оттесняются на периферию, иногда в прямом смысле — выдавливаются на окраины городов. Часто — просто исчезают. Закрываются или радикально меняют формат. На месте прежних оптово-розничных рынков под открытым небом появляются предприятия современных форматов — гипермаркеты, молы и т.д. В качестве отдельной отрасли сформировался крупный, высокомеханизированный транспортно-оптовый бизнес, встали на ноги мощные ретейлерские сети. Рынки под открытым небом становятся маргинальной, окраинной частью городского пространства и системы экономических и социальных отношений и связей.

Уходит натура... Уходит почти не замеченная исследовательским сообществом, почти сразу забытая обществом. Это странно — учитывая огромную роль феномена в переходную эпоху и его воздействие на жизненные траектории миллионов людей. Это ставит сложнейшую исследовательскую задачу — описать и проанализировать текущую ситуацию, попытаться реконструировать ушедшее прошлое.

Это сложная, возможно уже невыполнимая задача. Революционная эпоха не очень-то заботится об архивах, о сохранении исторической памяти. Ее больше устраивают мифы. Да и сам изучаемый объект, большая часть жизни и деятельности которого находилась в «серой», а иногда и «черной» зоне, не стремился к публичности. Скорее — наоборот. Огромная масса информации осталась незафиксированной, не отложилась в письменных и визуальных источниках. Важнейший экономический феномен почти не оставил за собой «статистического следа».

Видимая открытость и простота конструкции рынков создала иллюзию, в том числе и в исследовательских кругах, что здесь и нечего особенно изучать, что нет важной и сложной исследовательской проблемы. В свое время британские антропологи, приехавшие изучать индийских торговцев в Родезии, столкнулись с недоумением среди местных белых. «Но что можно исследовать об индийцах? Они сидят в своих маленьких лавочках, живут в их задних комнатах по полдюжины вместе. Они едят жирную еду, они не очень чистые и не очень честные. Что еще надо знать? Вы можете узнать все об индийцах этой страны за пятнадцать минут»¹.

Политические потрясения и социальные катаклизмы заслонили в сознании людей и в представлениях исследователей эту проблему как второстепенную. Возможно, это также результат отсутствия интереса зарубежных ученых — а именно они формировали в то время исследовательскую повестку дня, можно сказать — моду.

Задачу исследования осложняет — и делает ее одновременно чрезвычайно важной и увлекательной — то, что это очень сложный, динамично развивающийся и практически не прозрачный институт, система связей и отношений. Не

¹ Dotson F., Dotson L.O. The Indian Minority of Zambia, Rhodesia and Malawi. — NewHaven: YaleUniversityPress, 1968 — P. 273.

просто место для торговли и много больше, чем хозяйствующий субъект. Российские рынки постсоветской эпохи — это феномен, который находится на перекрестье нескольких важнейших социальных феноменов, соответственно — исследовательских проблем. Каждая из них требует отдельного исследовательского внимания — причем внимания представителей различных наук. В идеале — это предмет комплексного анализа историков, экономистов, географов, политологов, социологов, лингвистов, специалистов по экономической социологии, социальной антропологии, урбанистике. Опыт показал, насколько сложно им взаимодействовать, как трудно состыковать концептуальные и терминологические аппараты, переводить с одного научного языка на другой. Возможно, изучение постсоветских рынков заставит в процессе совместной работы находить общий язык.

Задачу этого текста я вижу в некоей инвентаризации, систематизации того, что мы знаем — и чего предположительно не знаем — об открытых этнических рынках постсоветской эпохи. Возможно, это позволит сформулировать повестку дня для дальнейших исследований.

И — как историка по происхождению и культуре — меня тянет начинать работу с исторического экскурса, с исторической традиции.

Базар, «колхозный рынок», «барахолка»...

В каком-то смысле базар вечен, он существовал и играл важную роль в любом относительно организованном и сложном обществе. Но это не означает его неизменности. В различных исторических контекстах он приобретает различные функции, меняет — иногда радикально — внутренние характеристики и параметры, играет разные роли в обществе.

Самый известный тип, вошедший в массовую мифологию и ставший стереотипом — это, несомненно, «восточный базар». О нем много написано европейскими путешественниками, он стал излюбленной натурой для европейских же художников. Он породил яркие образы в художественной литературе. Для меня в этом смысле эталонным стал образ бухарского базара в блестящей книге Леонида Соловьева «Повесть о Ходже Насреддине».

Несомненно, это феномен другой эпохи и иного типа общества, чем постсоветские рынки. Это важный, возможно системообразующий, элемент традиционного общества — с соответствующими функциями, местом в обществе, внутренней организацией, повседневными практиками. Прямая преемственность здесь, скорее всего, отсутствует. Хотя возможно, где-то (скажем, в Центральной Азии) могли сохраниться, пройдя через советскую эпоху хотя бы в виде рудиментов, и генетическая преемственность, традиция, стиль жизни, система ценностей, практики...

«Колхозные рынки» и «барахолки» советских времен — в каком-то смысле — это прямые исторические предшественники постсоветских рынков. Отчасти и генетические — в качестве площадок, с которых они начали развиваться, главное же — как носитель идеи и отношений рыночности в официально нерыночном обществе. Конечно, базар — это не рынок, но в базарности неизбежно присутствует рыночный элемент. Принципиально важно, что «колхозные рынки» и «барахолки» были не очень любимым и совсем не

уважаемым феноменом социалистического общества, однако вполне законным. Служили они при этом еще и легальной «крышей» для незаконных и сурово караемых «спекулянтов», «теневиков», «фарцы» и прочих представителей незаконного предпринимательства.

Строго говоря, это отдельная, самостоятельная и невероятно интересная проблема. И крайне загадочная. Рынки были неотъемлемой и очень важной частью реальных социалистических отношений. Это важнейший, неискоренимый — несмотря на свою сомнительную идеологическую природу — институт советской социалистической системы. Без их изучения наше понимание социалистической эпохи будет заведомо неполным и неадекватным.

По официальным правилам, рынки были местом примитивного обмена, купли-продажи личных вещей, площадками для сбыта излишков с приусадебных участков колхозных крестьян. Важным подспорьем в снабжении жителей городов. По сути же, набор функций был неизмеримо богаче. Это было место легитимного обмена и торга; канал обмена и механизм жизнеобеспечения города и деревни; площадка, на которой формировался и функционировал рыночный механизм межрегионального обмена; терминал «теневого экономики»; зародыш «этнической экономики».

При крахе социалистической государственной распределительной системы рынки стали важнейшим механизмом снабжения потребительскими товарами огромной массы людей. Площадкой и механизмом формирования слоя массового мелкого бизнеса, механизмом кристаллизации рыночных отношений и связей. Они послужили стартовой площадкой для развития бизнеса и «бизнеса» массы начинающих мелких торговцев и «челноков». Рынки достались им по наследству от социалистического прошлого как место привычного и законного обмена и торга.

Однако новые времена и новые задачи радикально изменили и функции прежних колхозных рынков и барахолки, их место в новой системе отношений. Изменился сам их характер (новые формы собственности, новый менеджмент, новые функции), произошла экспансия на новые площадки. Старые оказались неадекватно малыми и не очень хорошо организованными для новых задач. Поэтому создаются новые рынки на стадионах, разорившихся фабриках и т.д. Там где простор, коммуникации, чистое место с точки зрения организации и собственности. Старые рынки и барахолки стали не самой крупной и влиятельной частью новой системы, утратив при этом советские черты организации и стиля.

Уже только перечисленное говорит об огромной роли феномена. Поразительно при этом то, что он почти не изучен и даже толком не описан. Практически это историографическое «белое пятно». Можно предположить, что и советский рынок, его функции и способ существования, роль в обществе не были статичными. Он претерпевал радикальные изменения: от «Сухаревки» времен Гражданской войны до «колхозного рынка» и «барахолки» времен застоя. Но все это, повторюсь, «белое пятно». Все остались только в виде легенд и мифов в исторической памяти. В виде распространенного сюжета в художественной литературе, в фильмах, но в основном относящихся к кризисным моментам — войнам и послевоенным временам.

Можно строить предположения о причинах. Возможно потому, что социалистическая эпоха — одна из наименее изученных и осмысленных в истории

нашей страны. И дело не только в патологической страсти властей к засекречиванию, в общей закрытости общества. Даже открытие архивов, свободный доступ к самой засекреченной информации советской эпохи не решит проблемы. Одна из причин — нормативность описания социальной действительности. Чего не должно было существовать, то вообще не откладывалось в документах, письменных источниках. Существовал богатый язык эвфемизмов, умолчаний, намеков, «взаимных подмигиваний» и неформальных практик. Почти по С.Довлатову: «Я не был антисоветским писателем, и все же меня не публиковали. Я все думал — почему? И наконец понял. Того, о чем я пишу, не существует. То есть в жизни оно, конечно, имеется. А в литературе не существует. Власти притворяются, что этой жизни нет».

Возможно, такой сомнительный с идеологической точки объект, как базары, был табуирован для изучения. И даже если не было прямого запрета, изучение задворок социализма грозило выходом на запретные для проговаривания сюжеты. Поэтому сейчас изучать базары чрезвычайно трудно в силу острого дефицита источников и их заведомой неполноты и односторонности. Объект окончательно ушел в прошлое, оставив пугающе мало информационных следов. И следы эти — заведомо односторонние. Масса информации, очевидной для участников процесса, не просто закрывалась, засекречивалась. Это было бы полбеды. В чудовищно забюрократизированном обществе существовал гигантский документооборот. И сокрыть хотя бы часть его, засекретить — невозможно. Как и полностью уничтожить пласты документов. Но масса информации вообще не откладывалась на бумаге. Многие вещи (очень важные) или устно проговаривались, или скрывались за эвфемизмами, или не проговаривались вообще, совершаясь «по умолчанию».

Конечно, существует острая потребность «поднять архивы» советской эпохи, извлечь из них максимум возможного. Ведь «колхозные рынки» и «барахолки» были юридически оформлены, они имели бухгалтерии и отделы кадров, профсоюзные организации и партийные ячейки. Должны остаться приказы, отчеты, протоколы. Некоторую надежду внушают архивы правоохранительных органов и судебные дела. Но необходимо понимать, что это «официальное лицо» феномена, то, что положено было видеть. Теневая сторона рынков, их рутинные практики, их реальная жизнь, реальные функции, масштабы и формы экономической деятельности могут быть отражены в архивных документах случайно, отрывочно, косвенно. Или не отражены вообще. Есть слабая надежда на свидетельства очевидцев, участников, но по понятным причинам этот источник уходит в прошлое безвозвратно.

Будем реалистами — мы уже не сможем реконструировать, выявить и описать мир советского базара во всей его полноте и разнообразии. Тем важнее задача ухватить то, что еще можно.

Инкубаторы мелкого бизнеса

Новое качество и новая роль открытых рынков в постсоциалистическую эпоху стали результатом кумулятивного воздействия целого ряда факторов. Рухнула социалистическая система производства и распределения товаров народного потребления. Потребовалась, причем немедленно, альтернативная

система жизнеобеспечения. Из государственного сектора экономики было выброшено огромное количество людей, сразу потерявших средства к существованию. Произошла фактическая девальвация их прежних жизненных стратегий, статусов, квалификаций. Были легализованы рыночные отношения и открыты границы.

Рынки, рыночная деятельность стали средством выживания, областью обретения новых ресурсов и статусов, территорией самореализации. Здесь можно было начинать почти с нуля, не имея за спиной первоначального капитала, связей, рыночного опыта и системы ценностей. Конечно, имевшие это нелегальные и полуправильные предприниматели-профессионалы старого режима получили огромное стартовое преимущество. В рыночную деятельность пришла масса высокообразованных и готовых к географической и социальной мобильности горожан. Насколько это было возможно для людей, выросших в рамках социалистической системы.

Товарный голод в сочетании с открытыми границами и проторенными первопроходцами — польскими челноками — путями и созданной ими инфраструктурой породили массовый феномен челночничества. «Челночная» торговля — это отдельная огромная и сложная исследовательская проблема, нас здесь интересует та ее сторона, которая прямо связана с открытыми рынками. «Челночная» торговля сыграла огромную, возможно даже решающую, роль в снабжении населения в критический момент краха социалистической экономики. Для сотен тысяч занятых в ней людей она стала школой предпринимательства, инкубатором для мелкого и среднего бизнеса. Были сформированы огромные товарные трансграничные потоки, почти не учтенные, кстати, официальной статистикой.

Уже сейчас очевидно, что это явно недооцененный и недостаточно изученный феномен. Хотя, конечно, и не в той степени, что советские базары. Изучается история феномена, а она естественно связана с катаклизмами, пережитыми Россией в XX веке. Большая работа проделана по изучению масштабов «челночничества» и его роли в экономике страны и отдельных регионов, его довольно сложной организации, описаны различные типы челноков и их мотивации и стратегии. Однако обобщающие монографические исследования еще ждут своего часа.

Масштабы челночной торговли быстро породили специализацию и разделение труда. Сформировался спрос на инфраструктуру, особенно на стабильные стационарные площадки, терминалы формирования и распределения товарных потоков. Торговля с рук и «знакомым» себя быстро исчерпала. Ситуация, когда один человек закупал товары, вез их через границу и сам же распродал, резко сужала деловые возможности.

В результате происходит быстрый переход от торговли с рук к прилавкам, контейнерам, ангарам. Рынки обрастают обслуживающей инфраструктурой и сопутствующими услугами. Особое значение имело обеспечение безопасности. Был стремительно пройден путь от первоначального хаоса и индивидуальных усилий (где рынок был просто площадкой для торговли) к системе — от конгломерата отдельных торговцев к структурированию, сетям, параллельным институтам власти и управления. К рынку как сложно организованному организму. Индивидуальный и действующий на свой страх и риск челнок быстро и на разных условиях интегрируется в систему.

Когда ограничительные действия властей, конкуренция крупных компаний, создавших эффективную и конкурентоспособную систему импорта и крупного опта, постепенно вытеснили челноков, рынки приспособились и к этой ситуации. В качестве входных и выходных терминалов они остались частью меняющейся системы, меняясь при этом сами.

Три элемента системы

Российские рынки очень быстро, практически сразу, стали очень важной частью международных сетей, по которым огромным потоком шли товары, деньги, люди, информация, встречались и притирались друг к другу деловые культуры, где формировались и эффективно функционировали нормы, правила и санкции за их невыполнение.

В самом общем виде эта система состояла из трех важнейших элементов. Товарные потоки начали формироваться во «входных терминалах», особенно в Китае и Турции, для которых обслуживание российской «челночной торговли» стало значимой отраслью экономики. Ими могли быть специализированные «русские рынки» в Пекине, Стамбуле, специализированные города-терминалы в Китае (Маньчжурия, Суйфуньхе, Хэйхе). Как вариант — транзитные рынки в Киргизии, куда поступали китайские товары, которые шли затем в Россию или через Ферганскую долину в страны Центральной Азии. В функции этих терминалов входили отслеживание эволюции спроса в России, формирование листа заказов для местных производителей, опт и розница, формирование мелкооптовых партий, консалтинг, услуги («помогайки»), сервис (рестораны, сауны, проституция).

Второй элемент — это «челноки», вслед за которыми пришли и в конечном счете вытеснили их специализированные фирмы. Их функция — закупка, формирование товарных партий, транспортировка, оптовый сбыт в России. Иногда челноки сами и сбывали привезенные товары. Но побеждали специализация и разделение труда.

И наконец, рынки в России, а также отчасти в Восточной Европе, как опорные базы новой системы торговли и снабжения. Их наиболее заметная, но, возможно, не главная функция — розница и мелкий опт для непосредственных потребителей. Именно из них состояли огромные людские потоки, достигавшие иногда десятков тысяч человек в день. И хотя сумма покупок большинства из них была невелика, но в массе это давало огромные обороты. Покупателей, особенно людей с низкими доходами, привлекали низкие цены, возможность торговаться, широта выбора. Импонировал и весьма демократический стиль общения, позволявший чувствовать себя свободно и раскованно.

Однако главной функцией крупных рынков была все-таки логистика. На иркутском рынке «Шанхай» регулярно делали оптовые закупки не только торговцы из ближайших городов, но из Улан-Удэ и Читы. О масштабах этого бизнеса говорит информация, ставшая доступной после закрытия Черкизовского рынка в Москве. Он обеспечивал работой до ста тысяч человек, 70—80 процентов из которых, по оценкам Федерации мигрантов России, были гражданами КНР. По оценкам китайской газеты «Дунфан цзаобао», на рынке

остался товар на сумму около пяти миллиардов долларов, принадлежащий китайским торговцам¹.

Таким образом, рынки вряд ли можно охарактеризовать как чисто российское явление.

Рынки одевают, обувают, кормят...

Рынки стали не просто ключевыми элементами формирующейся рыночной системы снабжения, а значит, и жизнеобеспечения низших и средних слоев населения страны, но и площадкой, полигоном, на котором происходило формирование слоя массового мелкого предпринимательства. Сюда сходились огромные товарные и денежные потоки, здесь концентрировались самые разнообразные интересы; происходила стыковка формальной и неформальной экономик. В конце концов, регулярные походы на них входили в стратегию экономического выживания основной массы горожан.

На круглом столе «Трудовая миграция и розничные рынки» (2007 г.) заместитель председателя Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете Федерации Владимир Слуцкер отметил, что в России насчитывается около 6 тысяч розничных рынков, на которых занято 1,2 миллиона человек. «Рынки полностью одевают, обувают, кормят и поят все население России... Большинство потенциальных покупателей рынков — малообеспеченные россияне, поэтому любые непродуманные действия по регулированию рынков могут существенно подорвать их жизненный уровень»².

На обслуживании челночной торговли и открытых рынков в России выросли заметные сектора экономики в Турции и Китае. О масштабах этой торговли может многое сказать таможенная статистика этих стран.

Рынки, став школой предпринимательства, породили новые массовые социальные и профессиональные группы, с собственным образом жизни, типом поведения, с особой субкультурой. Есть примеры того, как организованно и энергично они могли отстаивать свои корпоративные интересы. Борясь против решения муниципальных властей о закрытии иркутского рынка «Шанхай», торговавшие на нем местные торговцы объединились в собственный профсоюз, провели несколько публичных акций, даже обратились с посланием к президенту страны. Для защиты своих интересов они основали газету «Восточно-Сибирский Шанхай», которая почти год вела энергичную борьбу против решения о закрытии рынка. Рынок это не спасло, но ярко продемонстрировало властям, что это реальная сила, с которой необходимо считаться и искать компромиссные решения.

Массовость рыночных торговцев, их происхождение из различных социальных слоев и социальных страт, сохранившиеся тесные связи с ними — все это способствовало легитимации в прежде нерыночном обществе рыночных ценно-

¹ Габуев А., Козенко А. Китай торгуется за Черкизовский рынок // Коммерсантъ. — 2009, № 131, 22 июля.

² Московское Бюро по правам человека. Хроника МБПЧ: март-апрель 2007 г. (<http://antirasizm.ru>).

стей, привычек, образа жизни, понимания законности и необходимости рыночной торговли.

Для меня важным свидетельством того, как далеко зашло привыкание к рыночности, к людям рынка, стала последняя повесть В.Г.Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». Новые времена и новые буржуазные отношения писателю категорически не нравятся. Еще больше, чем старые, социалистические. Рынок предстает символом зла. И в то же время в повести есть рыночная торговка, «угарная баба», грубо, решительно и весело выстраивающая не просто бизнес, а и жизнь — свою и окружающих. И она писателю симпатична.

«Этнические рынки» и «этническое предпринимательство»

Постсоциалистические рынки формировались в контексте открытости границ, перехода к рыночным отношениям, в симбиозе с трансграничным «челночничеством», они стали логистическими центрами по продвижению импортируемых потребительских товаров и продовольствия. Дополнительным и очень важным обстоятельством стали беспрецедентные в истории России трансграничные трудовые миграции. Все это вместе создало феномен, который население обозначило как «китайские», «кавказские» или «киргизские» рынки и торговые ряды.

В исследовательской литературе их чаще всего называют «этническими рынками». Условность этой терминологии очевидна — на этих рынках торгуют и оказывают разнообразные услуги люди различных национальностей и гражданств. Все они в той или иной мере этнофоры¹, но прилагательное «этнический» у нас привычно относят только к представителям меньшинств. О терминах не спорят, о них договариваются — и коль скоро они прочно вошли в оборот, ничего не остается, как ими пользоваться. С соответствующими оговорками и пояснениями.

Наиболее распространенным феноменом этого ряда стали «китайские рынки», которые возникли в больших и многих малых городах востока России, а также часто и в городах Европейской части. Китайскими они были названы населением этих городов, что очень часто маркировалось и названием рынков («Шанхай» или «шанхайка», «Маньчжурия», «Китайский рынок» в Иркутске, например). Иногда названия были в этническом смысле нейтральными — но это не мешало считать их китайскими. Так или иначе, это взгляд извне.

Если попытаться понять, что дает основание для такого взгляда, можно выделить следующие факторы: китайские товары, китайские торговцы, китайские капиталы, китайский менеджмент (обычно закулисный). В целом, это констатация не преобладания китайских торговцев, а типа отношений, определяемого китайским товаром. Этот тип отношений включает дешевизну товара, его не очень высокое качество, возможность торговаться, стилистику поведения китайских торговцев, их деловую культуру. С течением времени «китайскость» становится брендом, торговой маркой — и такое понимание далеко выходит за

¹ Этнофор — индивидуальный носитель определенной этнической культуры и национальной психики.

этническое поле, определяя по большей мере параметры экономические и даже социальные. Тогда появляется смысл осознанно, в качестве деловой технологии, формировать и «китайский облик» рынка через нехитрый набор символов (название, китаизированный дизайн в оформлении и т.д.). *Китайскость* становится специально производимым товаром для продажи. И, видимо, далеко не случайно выстроенный на месте снесенной знаменитой иркутской «шанхайки» торговый пассаж был назван «Шанхай Сити-моллом».

Это предполагает возможность ситуаций, когда рынок мог маркироваться как «китайский» без видимого преобладания китайских торговцев. Материала для анализа мало — и можно лишь предполагать в качестве гипотезы, что на рынки городов Западной Сибири и Урала китайские товары продвигались через государства Центральной Азии. Удобнее и выгоднее было использовать услуги граждан этих стран и их деловые сети.

К слову говоря, Турция, одно время сопоставимая с Китаем по объемам товаров, производимых для продажи по «челночным» каналам, не включилась в процесс их транспортировки и продажи в России. Турецкие товары шли сюда без турецких челноков и без турецких капиталов и менеджмента. В результате турецкие товары не породили «турецких рынков».

Зато китайские товары породили не только китайские, но и киргизские рынки. Имеющиеся наблюдения показывают, что буквально в считанные годы в России сформировались многочисленные (особенно учитывая небольшую численность населения этой страны) киргизские общины. Для нас важно то, что в отличие от таджикских и узбекских мигрантов они активно вторглись в бизнес на открытых рынках и завоевали там довольно сильные позиции. В большинстве сибирских и дальневосточных городов сформировались киргизские рынки или киргизские ряды. Можно предположить, что этот интенсивный миграционный поток был вызван не только совокупностью выталкивающих факторов — слабостью экономики страны, бедностью населения, регулярными политическими потрясениями. В силу либерального таможенного режима Киргизия стала важным транзитным пунктом для продвижения потребительских товаров из Китая (и не только) на российские рынки. Эти потоки в значительной части обслуживаются киргизами.

И здесь мы подходим к чрезвычайно важному вопросу о роли мигрантов в деятельности и структуре рынков, особенно этнических. Роль это не просто заметна — она велика настолько, что стала одной из существенных характеристик феномена. И дело не только в численности. Конечно, и один только китайский товар сам по себе может быть важным знаком, символом отношений и статусов. Но когда за ним стоит человек — проблема приобретает дополнительные измерения.

У присутствия мигрантов на рынках имеется советская предыстория. В 1960—1980-е годы на «колхозных рынках» сложился устойчивый, довольно многочисленный и очень заметный слой выходцев с Кавказа. Они обслуживали, в основном, трафик и продажу овощей, фруктов, цветов, производимых у них на родине. Масштабы и регулярный характер их деятельности позволяют говорить о ней как о профессиональном предпринимательстве, полуправильном с точки зрения властей и не одобряемом общественной моралью.

Тогда и сформировался «образ кавказца» — человека, не просто отличающегося особенностями культуры и поведения, внешним обликом, но и олицет-

воряющего в моральных категориях тех лет «торгашество». Можно предположить, что привычные этнические категории стали способом стереотипизации явлений социально-экономических. Навязанный государством и в целом принятый обществом взгляд на этничность («национальность» в терминах того времени) как на феномен скорее не культурный, а определяемый «кровью», происхождением провоцировал и появление расовых коннотаций в этом стереотипе. «Кавказцев» выделяли как группу — и относились как к группе, олицетворяющей не просто непривычные культурные нормы и практики поведения, но и осуждаемый общественной моралью тип экономического поведения.

Когда же с распадом Советского Союза и крахом социалистических отношений в Россию хлынул поток трансграничных мигрантов, значительная их часть в поисках работы и экономических возможностей пришла на рынки. Челноки изначально были разных национальностей и гражданской принадлежности — русские, украинцы, китайцы, киргизы и т.д. Преобладание или заметная роль тех или иных групп определялась не столько тем, что иногда называют «этнической предрасположенностью», сколько ситуацией и экономической целесообразностью. Ведь и саму стратегию челночничества, практики, навыки, инфраструктуру бывшие советские граждане переняли от поляков. Не зря многие русские рынки в Китае и Турции первоначально были польскими.

Те же «кавказцы», которые в советские времена специализировались на обслуживании товарных потоков из родных мест, постепенно переориентировались на общую торговую и посредническую деятельность. Уже отмечалось, что экономически эффективнее обслуживать потоки китайских товаров через Центральную Азию стали жители этого региона. Многочисленные китайские челноки или занялись в России стабильным бизнесом, или вступили в кооперацию с русскими торговцами.

Открытые рынки стали местом и механизмом экономической и социальной адаптации трансграничных мигрантов, площадкой концентрации их экономической деятельности и социальной организации. Анклавом «этнического бизнеса».

Все это делает чрезвычайно насущным и важным вопрос, сформулированный в продолжающихся дискуссиях об «этнической экономике»: коллективные или индивидуальные стратегии избирают мигранты в качестве инструмента достижения экономического успеха на рынках? Если коллективные — то на какой основе формируются их группы? Их поведение на рынках определяется экономической целесообразностью или соображениями групповой лояльности? Дополняют или исключают друг друга эти мотивы? Какова роль этнического фактора в их рыночной деятельности, да и в образе жизни в принимающем обществе? Возможно или невозможно использование ими сети внутриэтнических (внутригрупповых, но маркированных этнически) связей, отношений сотрудничества, зависимости и власти в качестве ресурса в предпринимательстве?

Хотелось бы подчеркнуть, что эти вопросы возникли в концепциях «этнической экономики» в результате изучения огромного количества самых разнообразных случаев и ситуаций. Предлагаемые ими исследовательские подходы, утверждения и гипотезы важны не для получения априорного ответа, не как источник единственно правильного знания, а для того, чтобы задать вопросы изучаемому феномену.

Относительно сформулированных выше вопросов высказывались прямо противоположные гипотезы. Одна из них состоит в том, что торговец руководствуется чисто экономическими мотивами и стимулами, поэтому этнические, земляческие и другие групповые лояльности не определяют выбора его стратегии и практик. Есть и противоположная точка зрения — модель поведения торговца предопределена его принадлежностью к своей этнической группе и групповой лояльностью.

Для обоснования или отрицания этих гипотез по отношению к современной России катастрофически не хватает эмпирического материала. Представляется однако, что ответ на этот вопрос может быть разным в различных обстоятельствах и контекстах. Главное же, такая постановка вопроса может увести от признания того, что групповые связи и лояльности (земляческие, семейные, клановые, этнические или маркируемые в качестве этнических) могут быть мощным рыночным, экономическим ресурсом. Опыт «торговых меньшинств» традиционного общества свидетельствует об этом со всей очевидностью¹. Конечно, специфика постсоциалистических рынков в том и состоит, что это институт общества современного, не общинного. Поэтому прямые аналогии здесь невозможны. Но постановка вопроса представляется не просто корректной, но и чрезвычайно важной и перспективной.

Использование эвристического инструментария «этнической экономики» позволяет вновь вернуться к проблеме того, что же такое «этнические рынки». Сложившееся понимание, как уже было отмечено, определено взглядом принимающего общества. Оно исходит из безусловной презумпции того, что на «китайском рынке» действуют не торговцы (в том числе и китайского происхождения и гражданства), а китайцы как группа, люди, чье экономическое поведение, деловые практики, человеческие лояльности определяются их *китайскостью*. Принимающее общество видит на рынках группы, а отдельных людей воспринимает как органическую их часть.

Исследовательская задача состоит, видимо, в том, чтобы поставить здесь знак вопроса. И пытаться отвечать на вопросы на основании изучения конкретных ситуаций и кейсов. Причем крайне желательно — в динамике. «Этнические рынки» — это площадки, где действуют отдельные люди, мотивированные прежде всего мотивом прибыли? или это поле деятельности групп, организованных по этническому принципу? или не по этническому — но этнически маркированному? Противоречит ли одно другому? Являются ли «этнические рынки» просто торговыми площадками, на которых действуют на свой страх и риск отдельные торговцы — или там сложились устойчивые и эффективные внутренние механизмы регулирования, контроля и власти? Если да — то являются ли они этническими — или клановыми, но этнически маркированными? Или власть определяется наличием экономического и силового ресурса? Существует ли разделение труда по этническому признаку? При этом необходимо иметь в виду ярко выраженный феномен этнизации миграционных процессов в современном российском обществе. Ситуацию, когда процессы социально-экономические (миграция например) привычно описываются в категориях

¹ Дятлов В.И. Предпринимательские меньшинства: торгаши, чужаки или посланные Богом? Симбиоз, конфликт, интеграция в странах Арабского Востока и Тропической Африки. — М., 1996.

культурных, в том числе и этнических. Когда логика и практики поведения мигранта приписываются этнической группе.

Вопросов куда больше, чем ответов. Однако опыт изучения иркутских рынков позволяет утверждать (не распространяя это априори на все «этнические рынки»), что это не просто торговые площадки и хозяйствующие субъекты. Там сложилось и разделение труда (в том числе и по этническому принципу), и внутренние механизмы организации и контроля, и социальные сети, в том числе и на этнической основе.

Можно предположить, что формируется и особая субкультура таких рынков. Одним из свидетельств этого стало формирование и довольно широкое распространение пиджинов — особенно в российско-китайском торговом приграничье. Возрождена на новой основе и в новом историческом контексте дореволюционная традиция кяхтинского пиджина как языка приграничной торговли.

Контекст. Рынки в городской среде

Рынки — не просто место, где товары и деньги переходят из рук в руки. Теперь это место встречи и взаимного привыкания людей различных культур. Место и механизм привыкания к феномену этнического и культурного многообразия как норме.

Они стали неотъемлемой частью городского пространства в качестве олицетворения не только торговли и рыночных отношений, но и особого культурного феномена. Природа этой особенности требует отдельного изучения. Но может быть далеко не случайно в телевизионном сериале «Черкизона. Одноразовые люди» рынок предстает неким воплощением сталкеровской «зоны». Местом за пределами чужим и уже только поэтому опасным. Но и привлекательным своей экзотикой и возможностями. Скорее всего, это гипертрофированный взгляд, художественное преувеличение. Вряд ли обычный посетитель рынка испытывает там чувство риска или опасности, но ощущение настороженной отчужденности явно присутствует.

Рынки не были изолированными институциями в городской среде. Вокруг них естественным образом формируется самая разнообразная инфраструктура сервиса и развлечений. Не случайно, например, именно в районах рынков, особенно «этнических», наблюдается высокая концентрация самых разнообразных предприятий «этнического общепита». Мелкая уличная торговля также притягивается сюда, ближе к сложившимся потокам покупателей. Поближе к рынкам предпочитают селиться мигранты, формируя здесь хотя и размытые, пока еще не очень явно выраженные, но этнические кластеры.

Рынки — предмет постоянной озабоченности городских властей, так как являются важным источником ресурсов и механизмом жизнеобеспечения и одновременно — причиной или поводом разнообразных проблем и конфликтов. Проблемы транспорта, санитарии, затрущобливания окружающих территорий, уклонения от налогов и нарушения миграционного законодательства, повышенный уровень преступности, коррупция — все это создает у властей и населения справедливое ощущение слабой подконтрольности и управляемости этих стратегически важных для города объектов.

Поэтому «этнические рынки» постоянно находятся в центре общественного внимания, это предмет регулярных дискуссий в прессе и в интернете. И внимание это редко бывало доброжелательным.

Закрытие «шанхайки»: современные тенденции

Конечно, открытые рынки, в том числе и этнически маркированные, не исчезнут совсем. Своя ниша у них останется — в формате «блошинных рынков», продовольственных рынков, да и в какой-то мере оптово-розничных тоже. Вряд ли исчезнет и «этнический бизнес» — он уже сейчас эффективно осваивает современные форматы, эффективно реагируя на все запреты и ограничения. Однако время процветания открытых рынков позади — если конечно страну не постигнет какой-нибудь новый политический и экономический катаклизм. Российский опыт XX века показал, что экономическая и общественная роль открытых рынков радикально возрастает в переходные и кризисные моменты истории.

Что же происходит после закрытия или маргинализации этнических рынков? Куда уходят их обитатели и в каком направлении концентрируется их энергия? Стоит поискать ответы в опыте не раз упомянутой иркутской «шанхайки».

С первых же дней существования рынка было объявлено о его временности. Об этом постоянно заявляли представители городских и областных властей, руководители пожарных, правоохранительных, санитарных служб. От властей требовали закрыть «эту клоаку», а те охотно обещали это сделать. Но рынок эффективно функционировал тринадцать лет, пережив даже эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году. Это был прекрасный повод для атаки. Два вице-губернатора жестко потребовали от мэрии закрыть рынок по соображениям эпидемиологическим, а также безопасности и общественного порядка. В очередной раз заявили о необходимости радикально решить проблему депутаты городской думы. В сентябре 2006 года городская администрация все же ликвидировала рынок. Это встретило отчаянное сопротивление торговцев: подавались иски в Арбитражный суд, проводились публичные акции (пикеты, перекрытие улиц), подписывались коллективные обращения, распространялись листовки, был организован профсоюз работников рынка, его представители встречались с мэром. Дело дошло до телеграммы президенту страны. Городские власти оказались непреклонными. На организованное сопротивление они ответили конфронтационной риторикой, обычно им не свойственной. Единственной уступкой стала отсрочка закрытия рынка до начала 2007 года.

По словам представителя мэрии, по новому закону о местном самоуправлении город был обязан к 2009 году продать все свои коммерческие учреждения. Не исключено, однако, что причиной решительности и непреклонности стало то, что, как пронизательно заметила журналистка, «рынок "Шанхай" стал символом целой эпохи»¹. Проблема «шанхайки» переместилась в символическую плоскость. Она олицетворяла «китайскость», трущобность («клоака»), неприкрытую бедность («рынок для бедных»), огромные финансовые потоки и подозрения в

¹ Трифонова Е. Шанхайское «ополчение»// Восточно-Сибирская правда. — 2006, 2 нояб.

том, что городские чиновники используют их не по назначению. Для муниципальной власти рынок был не только источником доходов, но и головной болью. «Шанхайка» была только частью единой торговой площади, на которой расположены еще несколько частных рынков, создающих абсолютно такие же проблемы для города. Та же трущобность, антисанитария, скученность, транспортные проблемы, запутанные финансовые и налоговые проблемы, те же китайцы. Но об их закрытии речь не шла.

«Шанхай» ликвидирован как хозяйствующий субъект, ушел в прошлое как торговая площадь. Означает ли это прекращение деятельности китайского рынка в городе? Показательна реакция китайских торговцев. Чрезвычайно активные, боевитые, организованные, способные на риск во время борьбы за передел ресурсов рынка, они полностью отстранились от борьбы за его спасение. Это выявилось еще на стадии подспудной борьбы в администрации города, в ходе которой и было принято решение о закрытии. Тогда, в ноябре 2004 года, произошло уникальное для России событие — была создана газета под замечательным названием «Восточно-Сибирский "Шанхай"». В разговоре с автором ее основатель и журналисты подчеркивали, что инициатива и ресурсы исходили от русских торговцев и что главная задача газеты — воздействовать на общественное мнение иркутян с целью сохранения рынка. Газета выходила до лета 2005 года (около десяти выпусков) двадцатитысячным тиражом и довольно умело и профессионально боролась за жизнь рынка. Осенью 2006 года в арьергардных боях также участвовали только русские торговцы.

Китайский рынок перерос границы официального «Шанхая», соответствующая инфраструктура переместилась на другие торговые площадки города, особенно соседние. Фактически сформировался «Большой Шанхай». И решение городских властей обрушилось только на символ китайского рынка.

Закрытие «шанхайки» остро поставило вопрос о судьбе китайского бизнеса в условиях радикального снижения экономической роли открытых рознично-мелкооптовых рынков и мер по их административному выдавливанию. Что будет в этой ситуации с их китайской ипостасью? Каковы перспективы китайских торговцев, китайского бизнеса? «Китайские рынки» — «уходящая натура»? Феномен, который сыграл свою роль — и роль огромную, — а теперь власть при явном одобрении значительной, возможно даже преобладающей, части общества добивается его ликвидации?

Внимание исследователей привлекли только немногие «китайские рынки» страны. Поэтому об общих тенденциях можно говорить только предположительно. С этой важной оговоркой можно констатировать, что если неорганизованный «челночный» бизнес и преобладал, то только на ранних стадиях формирования феномена. Довольно быстро крупные предприниматели или корпорации установили контроль над деятельностью рынков, используя экономические и внеэкономические («патрон-клиент») механизмы подчинения мелких торговцев. Китайский бизнес эффективно функционировал, используя труд китайских мигрантов, но мог обходиться при необходимости и без них или с их минимальным участием, делая упор на китайские товары, капиталы и менеджмент. Ключевой здесь видится функция продвижения китайских товаров. Уверенно же можно говорить о том, что за два прошедших десятилетия китайский капитал, китайские товары, труд китайских торговцев стали важным,

необходимым и интегральным компонентом принимающей экономики. И важнейшим инструментом этого были «китайские рынки».

Потеряв прежние позиции, рынки под открытым небом вряд ли исчезнут окончательно. Они останутся, хотя и будут оттеснены на окраины городов и периферию экономической жизни. Однако кластеры, «сгустки» китайской торговли, в том числе и розничной, не исчезнут благодаря освоению новых торговых форматов. Залогом этого является то, что китайский бизнес в России накопил большие ресурсы (не только капиталы, но знания, опыт и связи). Он продемонстрировал огромную адаптивность к суровым и стремительно меняющимся условиям. Он не откажется и от такого мощного ресурса, как опора на общинность, на клановые связи и механизмы.

В ответ на правительственные меры по вытеснению иностранцев с рынков были мгновенно и эффективно задействованы система подставных лиц, маневра ресурсами, механизм смены юридического статуса. На смену открытых «шанхаев» идут крытые пассажи, торговые ряды и супермаркеты с китайскими капиталами, товарами и рабочей силой. Иркутский «Шанхай» ликвидирован как юридическое лицо. И тут же на его месте был построен «Шанхай Сити-молл».

В 2012 году городские власти резко активизировали борьбу с комплексом из одиннадцати открытых рынков в районе Центрального рынка («большим Шанхаем»). Они принадлежат частным владельцам, поэтому просто закрыть их (как «шанхайку», которая была муниципальным предприятием) власти не могут. Аргументация властей та же — антисанитария, трупобность, помехи дорожному движению, массовые правонарушения, «китайскость». Кроме того, с 2014 года вступили в силу новые нормы закона «О розничных рынках», по которым в городах, имеющих численность населения свыше ста тысяч человек, торговля может осуществляться только в капитальных строениях. Мэр Иркутска потребовал от хозяев рынков возвести современные торговые центры с парковками или перебраться из центра города, угрожая в случае неповиновения «навести порядок» с помощью интенсивных рейдов и проверок санитарных, пожарных, миграционных служб, Роспотребнадзора и т.д.

Одновременно при участии городских властей на этой территории был открыт новый торговый центр «Шанхай сити-молл». Хозяева рынка специально подчеркнули: «Прежнее название рынка... решили сохранить, потому что это популярное у горожан место, где можно недорого купить любые вещи». Подчеркивание символической реинкарнации рынка говорит и о том, что само слово «шанхай» обрело новые устойчивые коннотации, превратившись из имени собственного в имя нарицательное.

Китайский бизнес пришел в Россию навсегда. Он будет меняться, приспосабливаться к экономической и политической конъюнктуре, но не уйдет. Он уже перестал быть чужеродным для экономической и общественной жизни России, стал своим и необходимым. Теперь это неотъемлемая часть российской социально-экономической системы. А обогащение словаря русского языка новыми словами, типа «шанхайка» свидетельствует о том, что теперь это уже часть культуры.

Владимир Делба

СУХУМСКИЕ АНТИКИ

Чудаки, сорванцы и поэты недавнего прошлого

Всякий раз, проходя по памятным местам моей юности, я испытываю смешанное чувство грусти, восхищения и пронзительной ностальгии по бывшему Сухуми, утонувшему, как былинный град Китеж, в темных водах времени.

Воспоминания о нем и побудили меня в конце концов взяться за перо. Не знаю, удастся ли мне хоть частично воссоздать на бумаге тот город моего детства, солнечный, уютный, интернациональный, веселый и озорной. Смогу ли рассказать о населявших его удивительных людях... Но попытаться, я уверен, стоит.

В моем письменном столе дожидаются завершения и, надеюсь, публикации два сборника сухумских воспоминаний. Один я собираюсь назвать «Амра», другой — «Мой брат Хозе». Предлагаю вашему вниманию главки из них.

Амра

В советские времена встреча друзей в одном из сухумских ресторанов не казалась чем-то особенным. Это было по средствам многим, чуть ли не каждому. Но поход в «Амру» всегда был событием...

Фасад ресторана увенчивал сверкающий зеркальный шар, окруженный лучами и символизировавший солнечный диск, ибо *амра* — это и есть по-абхазски солнце. Заведение выигрышно отличалось от прочих увеселительных заведений и совмещало в себе сразу два достоинства. На нижнем уровне помещался хороший ресторан для тех, кто побогаче. А на втором — демократически открытая терраса. Это были совершенно различные миры. Терраса являлась, пожалуй, единственным в городе рестораном, где заказ чашки кофе не вызывал у официанта недоумение.

К тому же располагалась «Амра» в удобном месте — в центре города. Ресторан помещался на подбобии уходящей в море эстакады. Свежий морской ветерок постоянно обдувал террасу, с которой открывался потрясающей красоты

Делба Владимир Михайлович — художник, прозаик, поэт, эссеист. Автор четырех книг и многочисленных рассказов, очерков, эссе в газетах «Советская Абхазия», «Апсны Капш», журналах «Амцабз», «Алашара». Член Ассоциации писателей Абхазии. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

вид на береговую линию. Где-то далеко внизу лениво бормотали волны... Неудивительно, что «Амра» быстро сделалась очень популярной среди горожан.

Но особым местом террасу сделали люди. Здесь, на верхотуре «Амры», прописалась и стала своей, привычной, даже обязательной средой разношерстная творческая братия, веселая, озорная, любопытная и вечно голодная до знаний, новостей и общения. Студенты, актеры, художники, музыканты, молодые ученые...

Для меня лично «Амра» была неотделима от музыки.

Случилось так, что я заболел. Три моих друга — Рома Хахмигери, Менаш Ефремашвили с братом Эпиком заразили меня вирусом неведомой болезни, имя которой джаз.

У братьев Ефремашвили была уникальная по тем временам коллекция «фирменных» американских виниловых пластинок. И мы часто собирались в их уютном гостеприимном доме, чтобы слушать и обсуждать великую эту музыку. Кто-то привозил магнитофонные кассеты с записанными джазовыми концертами. И очень выручал радиоэфир. Власти глушили «вражеские голоса», но нас они не интересовали. Мы слушали радио Бейрута, которое не входило в список вредных и баловало нас новинками западной эстрады в отличном звучании. Каждую полночь с программой «Время джаза» в эфир выходил легендарный джазовый комментатор «Голоса Америки», обладатель уникальных знаний и не менее уникального бархатного голоса — Уиллис Коновер. Это был час волшебства, час блаженства.

Джаз стал очень популярен в городе. На террасе собирались любители джаза и профессиональные музыканты. Восторженные обмены мнениями переходили порой в ожесточенные споры, но заканчивались посиделки, как правило, попытками голосового озвучивания новых джазовых тем, своего рода джем-сейшенами а капелла.

Здесь блистали вечно теоретизирующий пианист Роланд Баланчивадзе, по прозвищу «Куса», медлительный ностальгирующий трубач Вахтанг Мгалоблишвили, доброжелательный улыбчивый саксофонист Женя Землянский, всеобщий любимец Джумбер Беташвили, сдержанный, всегда изысканно одетый виолончелист Альбик Митичян с братом Рафиком, братья Миносян, Рома Хахмигери, постоянно отстукивающий пальцами замысловатые джазовые квадраты. Почти исчез из памяти образ тихого, стеснительного юноши, но сохранилась необычная, вызывающая улыбку фамилия — Чижик. Для этих и некоторых других сухумчан джаз стал не просто увлечением, а жизненной философией, смыслом жизни.

На «Амру», естественно, зазывали и редких гостей-джазменов. Редких, потому что джаз относился к искусству «буржуазному», а значит, опальному, и если власти кое-как терпели местные джазовые коллективы, то гастрологи чужаков отнюдь не поощрялись.

Как-то зимой в Сухуми выступал эстрадный оркестр из Баку. Одно отделение было типично советским, а во втором неожиданно для зрителей выступил классный джазовый квартет, мастерски исполнявший сложнейшие музыкальные темы. Был теплый вечер. После концерта бакинцы вышли на променады, были окружены и доставлены на верхотуру «Амры», где испытали шок, обнаружив в сонном полупустом городе шумную компанию людей, так сильно любящих и отлично знающих джаз. Просто разойтись было невозможно,

нашлись ключи от ближайшего дома культуры, где имелось пианино, гости сбежали за инструментами... и начался джем-сейшен, на всю ночь. Только влюбленные в джаз могут понять, какое это было событие и какой оно было наполнено мощнейшей, безумной творческой энергетикой, которая, казалось, способна зарядить человека до конца жизни.

А что касается моего личного романа с музыкой, он, к сожалению, был недолгим и закончился драматично. В возрасте восьми или девяти лет меня отдали в музыкальную школу, на подготовительное отделение. Нотная грамота, сольфеджио, разучивание гамм... Все привычно и рутинно. Особого усердия я не проявлял, но перспектива играть на пианино и самому подбирать мелодии была мне по душе.

Все шло своим чередом, кроме одного, самого главного. Мои руки отказывались играть синхронно. Сначала я относился к этому достаточно спокойно. Потом же меня с нарастающей силой стала охватывать тревога. И в момент, когда тревога переросла в панику, когда я полностью потерял надежду, произошло чудо! Как-то утром я сел за инструмент и... заиграл обеими руками, да так слаженно, как будто был профессиональным пианистом. Каким же счастливым я был в течение нескольких дней.

Однажды вечером, позволив себе небольшой отдых, я отправился в парк имени Ленина. Находился он недалеко от нашего дома, и обычно по вечерам здесь собирались мальчишки из ближайших дворов, чтобы поиграть в пинг-понг или просто пообщаться.

Обычно веселые и добродушные ребята встретили меня с каменными лицами и в полнейшей тишине. Это было настолько необычно, что я почувствовал нечто похожее на страх. Смутился и спросил: что случилось? Не умер ли кто, не дай бог? Пока нет, ответили мне, но кое-кто отмереть может. Этот загадочный ответ еще больше меня запутал.

И тут они без лишних слов перешли в атаку:

— Так ты, как оказалось, баба! Как это «нет»? А кто из нас на музыку ходит? А в музыкалке, как известно, учатся одни только бабы. Так что выбирай, мы или музыка.

Наверное это был розыгрыш. В музыкальной школе училось немало мальчиков, так что обвинения были липовыми. Но я, к сожалению, был наивным ребенком и принял все за чистую монету.

В шоке я явился домой и закатил родителям истерику. Не помню, что говорил в тот вечер, но мои родители, добрые и мягкие люди, пошли у меня на поводу. Музыкальную школу я бросил.

Как-то раз много лет спустя отец моего друга, фронтовик, рассказывал мне историю, случившуюся с ним во время войны. Он, тяжелораненый, пообещал врачу госпиталя, что бросит курить. И слово свое сдержал.

— Знаешь Вова, прошло несколько десятилетий, а я ежеминутно испытываю болезненное желание выкурить папиросу. Ночами не могу уснуть, чувствую запах табака физически. Засыпая, курю в каждом сне, а просыпаюсь со слезами на глазах. Но курить реально? Нет, конечно. Я же дал слово.

Вот и я часто мучаюсь ночами, но не от отсутствия табака. Хуже! Во сне я сажусь за инструмент и с упоением играю джазовые мелодии. Но, увы, после ночи всегда наступает утро.

Гора имени Сталина

Древнее абхазское название этой невысокой двуглавой горы — Саматаарху. Верхняя ее часть невзрачна, и горожане непочтительно отзываются о ней как о «лысоватой». Облысела она в середине девятнадцатого века, когда все деревья на склонах были вырублены для строительства городских построек. Но случались в ее прошлом и более возвышенные периоды. На одной из вершин археологи раскопали участки древней стены, сложенной из булыжного камня и известкового бута. А во время войны на горе стояла зенитная батарея, и по сей день в густой траве местами угадываются остатки дороги, которой теперь никто не пользуется.

Вообще-то горой имени Сталина она именовалась, по историческим меркам, совсем недолго. Во второй половине девятнадцатого века местный краевед Чернявский построил здесь дачу, и с тех пор более ста лет сухумчане именовали эту местность «горой Чернявского».

Но вот на стыке сороковых и пятидесятих годов прошлого века здесь началось строительство большого парково-архитектурного комплекса, которое преобразило скромную горку в подобие райского сада, осененного именем вождя всех народов.

Мне довелось в раннем детстве видеть начало этих работ.

Однажды вечером отец вдруг позвонил маме и предложил взять детей — то есть нас — и вместе с ним посмотреть, как идет строительство фуникулера на горе Сталина (к слову, канатная дорога так и не была построена, однако незнакомое, но красивое слово запомнилось и понравилось настолько, что после окончания стройки горожане нередко называли парк на горе именно этим словом — фуникулер). Предложение было необычным. Отца в то время мы практически не видели дома, так как госслужба сталинских времен предполагала работу на износ, почти без сна и отдыха...

В автомобиле я, разумеется, прилип к окну.

Асфальт заканчивался как раз рядом с бывшей дачей краеведа, а дальше к вершине вела временная дорога, укатанная колесами самосвалов. Вечернее, уходящее за горизонт солнце будто пыталось поджечь гору оранжевыми лучами и окрашивало один из склонов тревожным заревом. Длинные черные тени только подчеркивали ощущение пожара.

Склон был совершенно голым. Ни единого деревца или кустика. Ни травинки. Над землей клубились облака пыли, поднимаемые в небо колесами и гусеницами строительных машин, сотнями человеческих ног. В тот вечер на горе собрались тысячи горожан, почти невидимых в пылевой завесе. Рев моторов, выкрики рабочих, рваный свет прожекторов и автомобильных фар, выхватывающих из пыли и темноты то неясные человеческие фигуры, то очертания ползающих по склону гигантских железных монстров, — все это напомнило мне кадры из виденного недавно фильма...

В кино так же клубилась пыль, так же хищно шарили по экрану прожекторные лучи и какие-то матросы штурмовали крепость, а из бойниц крепости их косил огонь вражеских пулеметов. Мне было очень жаль храбрых матросов, я рыдал так горько, что няне пришлось срочно эвакуировать меня из кинотеатра.

Здесь, на горе, было еще страшнее, хотя никто не стрелял из пулеметов. А вдруг начнут? Ведь это не кино! И не спасут от пуль толстые стекла «паккарда», предусмотрительно поднятые шофером Арутом. Я физически ощущал, как помимо моей воли кривится рот, готовясь к отчаянному реву. И в этот момент я посмотрел на брата. Его лицо светилось восторгом, глаза блеснули. Он буквально засыпал отца вопросами о строительной технике, о мощности бульдозеров и экскаваторов, производительности самосвалов, маршруте и конструкции фуникулера.

Его восторг передался мне. Я почувствовал, что рядом с отцом и старшим братом защищен ото всех опасностей. И пересилил страх. Лицо разгляделось, и я принялся с интересом разглядывать то, что творилось за окном. Пожалуй, это была первая в моей жизни осознанная победа над самим собой.

Торжественного открытия парка я не помню. Видимо, был еще слишком мал, чтобы придавать значение подобным событиям. Зато врезалось в память одно из посещений этого замечательного места несколько лет спустя. Отец уже не был на госслужбе и мог уделять больше времени семье. Как-то раз он взял меня за руку и повел прогуляться на гору, которая к этому времени называлась уже просто Сухумской.

Мы медленно поднимались вверх по тенистой, идеально гладкой асфальтовой дороге. Шли мимо обшарпанных старинных особняков, давно превращенных в коммунальные жилые дома. Миновали своды белоснежной въездной арки, поддерживаемой псевдогреческими колоннами, и оказались в подобию зеленого коридора. А вернее, в трубе диковинного калейдоскопа, в котором кроны экзотических деревьев, пронизанные солнечными лучами, переливались всеми оттенками зеленого, серого, фиолетового, голубого... Стволы их тянулись из густой травы и подстриженных кустов самшита вверх к высокому небу. Легкий теплый ветер разносил над дорогой густые, незнакомые ароматы листвы и цветов.

Мной овладело странное чувство, ощущение восторга и нереальности происходящего. Это была какая-то пьянящая эйфория (что-то похожее я испытал несколько лет спустя, впервые в жизни выкурив папиросу с анашей). И пока мы под шелест листвы шли в гору, отец показывал на то или иное дерево и увлеченно рассказывал, из какой заморской страны его привезли специально для города, как оно приживается в нашем климате и, главное, как оно называется на латыни. *Eucalyptuscinēria*, *buxus sempervirens*, *cinnamomum camphora*... Эти названия звучали для меня как музыка, как гимн окружавшему нас рукотворному великолепию. Меня распирало от гордости за то, что отец, чью руку я с волнением сжимал, не просто один из организаторов чуда, сотворенного людьми на горе Чернявского, но и может так увлекательно и с таким знанием рассказывать обо всех подробностях того, как оно возникало.

Особенно поразил меня способ, каким гору излечили от «лысости». Все ее склоны от подножия до вершины были выложены дерном! Вручную клали один к другому сотни тысяч лоскутов земли с высаженной травяной рассадой.

Нужно сказать, в городе ходило много слухов о том, какой ценой строился комплекс на горе. И заключенных якобы нещадно эксплуатировали, и местное население якобы рекрутировали по принципу трудовой повинности.

Данными насчет заключенных не располагаю, но помню фотографии того периода и рассказы моих старших родственников. Помню моих улыбающихся

тетушек в спортивной одежде с лопатами в руках, отбывающих в кузове грузовика на строительство. И помню, что записаться в строительные отряды, со слов старших, было для горожан честью и почетной обязанностью.

Как бы то ни было, именно тогда, в голодные послевоенные годы, Сухуми стал преображаться. Именно тогда построили драмтеатр с экзотическим фонтаном, филармонию, обустроили набережную, привели в порядок скверы и парки. Слова «город-сад» в те годы не были метафорой.

Это уже потом, в эпоху так называемой хрущевской «оттепели», в более сытое и благополучное время появились безликие серые коробки, которыми бессистемно засоряли городское пространство. И если бы не море и природа, «хрущобы» низвели бы цветущий курортный город до уровня какого-нибудь пыльного степного Целинограда.

Хаджарат, абрек и носильщик

Хаджарат работал носильщиком на вокзале. Небольшого роста, сугубый и сутулый, тихий незаметный человек средних лет. Не воевал, поскольку не прошел медицинскую комиссию, хотя, как говорили соседи и друзья, на фронт рвался. Но сильнейшее косоглазие и укороченная в результате детской травмы нога шансов уйти на фронт не оставляли.

И Хаджарат, как часто бывает в подобных случаях, закомплексовал. Свои переживания носил в себе, с завистью поглядывая на ордена и медали сверстников, прошедших войну. Но все это до первого стаканчика чаи. Хаджарат не любил шумных и долгих застолий, витиеватых тостов и пьяных разговоров, но и пить в одиночку считал ниже своего достоинства. Спиртное действовало на него как магический эликсир. Метаморфоза поражала даже тех, кто наблюдал ее достаточно регулярно. После одной-двух рюмок из-за стола поднимался уже совершенно другой человек. Ровная прямая спина, гордая посадка головы, мягкая, танцующая походка, решительный и задорный блеск в глазах... Поразительно, но куда-то уходило косоглазие, да и поврежденную ногу будто вытягивал на время неведомый волшебник.

Теперь Хаджарату было необходимо другое общение, не застольное. Хаджарат нуждался в публике, аудитории! И он умел найти слушателей. Как правило, шел на плохо освещенную вечернюю набережную, пустынную в «мертвый», некурортный сезон. Высмотрев стайку подростков, наш герой неожиданно возникал из темноты и, прижав палец к губам, знаками увлекал мальчишек в сторону от бульвара. И уже в безлюдном месте завораживал речами заинтригованную юную аудиторию...

Надо сказать, что Хаджарат был от природы сообразительным человеком. Он много читал, был внимательным и благодарным слушателем, а если учесть, что жил он в самом криминогенном районе города между вокзалом и поворотом на Маяк, застроенном бараками, то можно представить, сколь много самых разных историй — от леденящих кровью романтических и отчаянно смешных — хранилось у него в памяти. Так что ему было что рассказать. Он никогда не повторялся и постоянно импровизировал, как хороший джазовый музыкант.

Общий же сценарий был обычно таков. Вначале он приводил слушателей к своеобразной присяге — требовал, чтобы они пообещали ему хранить в тайне все,

что он расскажет. А затем сообщал, что он не кто иной, как легендарный «вор в законе», грабитель эшелонов по кличке Сипа. Иногда представлялся именами столь же известных бандитов — Народного комиссара или же Маляки. Затем вводил мальцов в курс дела. У него есть «наколка» — то есть наводка — на дело о десятках миллионов. Мол, из Тбилиси в Москву отправляют вагон золота, вывезенного еще в годы войны из Персии. В Сухуми поезд будет стоять только три минуты, чтобы залить в паровоз воду. Этого времени достаточно для ограбления, но ему, Сипе (Наркому, Маляке), требуется команда единомышленников, смелых и рискованных.

— Пацаны, вы не бздите, у меня все подготовлено. Дам вам «шмайсера» и пару «воробелов», век свободы не иметь. Пишитесь, короче, пока я добрый... Не то вы же в курсе дела, валить вас придется, — с этими словами Хаджарат опускал правую руку в карман пальто и, выдержав небольшую паузу, начинал заразительно хохотать.

Когда окаменевшие от ужаса мальчишки немного приходили в себя, он продолжал доверительно-заговорщицким тоном, сменив тембр голоса и стиль речи:

— Это я вас, ребятки, проверял. Знаете, есть у нас, у чекистов, метод такой — будущих разведчиков готовить сызмальства, устраивать проверки всякие. Я-то знаю, все вы парни надежные, комсомольцы, но порядок есть порядок. Теперь-то вы проверку прошли, и я могу смело записать вас в молодежный отряд содействия органам, сокращенно — МОСО. Слыхали о таком? А насчет вагона с золотом и плана Сипы — все истинная правда. Захват или уничтожение банды Сипы и будет вашим первым заданием. Понятно? А насчет оружия не беспокойтесь. Получите из спецарсенала автоматы ППШ и пистолеты ТТ. Ну а сейчас тихонечко, по одному расходимся. Встречаемся завтра в четыре утра у павильона «Голубой Дунай». Пароль — «афыртын»¹.

А затем следовал главный, основной номер программы. Хаджарат поднимал правую руку, как бы отменяя предыдущий приказ, откашливался и почти театрально поставленным голосом объявлял уже полностью обалдевшим, потерявшим дар речи подросткам, что и второе задание было проверочным, неважным. Он не Сипа, даже не тайный чекист, а о том, кто он такой, никому вообще нельзя говорить ни слова. Любопытно, что у него неожиданно появлялся сильный акцент.

— Хаджарат я, Хаджарат Кяхба. Знаете такой? А если лицо не узнали, ура², значит харашо, так и должен бить. Радуйтесь, ура, ни каждый ден так на жизнь павезет, что сам Кяхба Хаджарат вам на дарога встретитца!

Настоящий же Хаджарат Кяхба жил в начале прошлого века, в дореволюционные времена. Был он бандитом, абреком, но при этом человеком добрым и справедливым. Бедных не обижал, наоборот, частенько раздаривал им награбленное у князей и купцов. Этакий Робин Гуд абхазского разлива. Советская пропаганда романтизировала его образ, превратив неграмотного крестьянского сына в высокоидейного революционера-большевика. О нем написаны книги, создан фильм «Белый башлык», его именем назван небольшой теплоход.

¹ Афыртын — буря, ураган (абх.).

² Ура — общераспространенное обращение к мужчине в разговоре (буквально «ты», местоимение 2-го лица единственного числа) (абх.).

И вот теперь наш Хаджарат, фамилия которого была совсем не Кяхба, с упоением рассказывал успокоившейся вконец публике, как создавал он революционные боевые группы «Киараз», как возглавлял вместе с Нестором Лакоба подпольную партийную ячейку, как весной двадцать первого брал с боем Сухум...

— Но, дядя Хаджарат, в книжке написано, что враги подло убили вас еще до советизации...

— Уара, эта бил гасударственный тайна. Меня направил абком на другой участка и кроме вы, уара, не один чалавек не знает, что я, уара, живой. Сейчас в Испания руководит собака, пес империализмы, фашист Франко. Меня, уара, тайно пашлют в Испания, на партизанский вайна, уничтожить гаду, — доверительно произносил джигит, как бы проходясь пальцами по газырям воображаемой черкески.

И именно Хаджарат Кяхба и его революционные приключения являлись обязательной темой каждого выступления нашего героя. И заканчивал их он одинаково — просил слушателей приподнять его и водрузить на основание фонарного столба. Возвышаясь над аудиторией, Хаджарат начинал с чувством декламировать стихи:

На гора Шамил стаял,
Шашка, пушка и кинжал
На адын рука держал.
А внизу народ стаял.
Ах, какая маладца,
Уара, красный армии байца...

Хаджарату аплодировали и снимали его со столба.

Представление было завершено, и наш герой, прижав палец к губам и постоянно оглядываясь, нет ли «хвоста», потихоньку уходил в темноту. А еще чуть позже вдали можно было разглядеть сутулого согбенного человека, с трудом волочившего деформированную, большую свою ногу. Хмель выветривался, часы били полночь, карета превращалась в обычную тыкву.

Но однажды обычное течение спектакля одного актера было нарушено.

В тот день слегка накрапывал теплый летний дождь. Во дворе на скамейке под персиковым деревом, защищавшим от дождя, сгрудились несколько подростков, которые бурно обсуждали некую техническую проблему. Вел заседание мой брат Хозе. Наконец проблема была решена, соседский парень сгонял домой за инструментами, и вся кампания вышла из ворот на улицу и направились в сторону горы Сталина. Не успели ребята пройти и квартала, как вдруг из переулка выплыл... сам Хаджарат Кяхба. Или, если быть совершенно точным, носильщик Хаджарат, воплотившийся в великого абрека. Как занесло его в рабочее время в противоположную от вокзала часть города и под хмельком, так и осталось загадкой.

При виде подростков глаза у Хаджарата засветились предвкушением грядущего спектакля. Но его опередили. Мой брат Хозе прижал палец к губам и, постоянно оглядываясь, как бы опасаясь слежки, сообщил Хаджарату о задании высочайшей государственной важности, которое ребята получили от органов госбезопасности в кабинете первого секретаря обкома комсомола. В чем состоит задание, можно рассказать только на том месте, куда все направляются.

— Уара, пачему меня не сообщил? — усомнился джигит.

— А почему, уара, мы шли вам навстречу, дядя Хаджарат? Ведь мы и должны были найти вас и передать, что руководить операцией будете вы. Мы же просто исполнители...

Хозе выпалил этот текст как из пулемета, не давая Хаджарату собраться с мыслями, и повел абрека в гору.

Не помню, была ли в то время уже построена гора имени товарища Сталина, но помню место, где стоял автомобиль... Ну, автомобиль — это слишком громко сказано. На самом деле грузовик представлял собой жалкое зрелище. От бывшей полуторки остались лишь металлическая рама с кабиной и обломки деревянного кузова. В кабине чудом сохранились сидения, покрытые толстым слоем отвратительной липкой грязи. Приборный щиток был разбит, из него торчали обрывки проводов. Педаль управления проваливались до пола, поскольку двигатель под капотом отсутствовал, а тормозов, естественно, не было. Но колеса оставались — спущенные лысые шины на ржавых дисках. И что было самым важным — сохранилась баранка, рулевое колесо. Располагалось это чудо техники передком к спуску.

Тут-то Хозе огласил суть секретного задания. Автомобиль не был бесхозным хламом. Как выяснилось, вражеские агенты смонтировали в его металлической раме суперсовременный прибор для наведения самолетов. И поскольку империалисты всех мастей не могут смириться с достижениями Страны Советов, то и задумали они гору имени товарища Сталина взорвать, дабы не дать советским людям насладиться ее красотами. Был срочно подготовлен специальный набитый бомбами самолет с пилотом-камикадзе, который ждал, что со дня на день поступит приказ о вылете. Но и наши доблестные органы были, как всегда, начеку. Они выследили осиное гнездо шпионов и диверсантов в районе Маяка и приняли мудрейшее решение. Полуторку следовало перегнать на Маяк и скрытно разместить рядом с шпионской базой, расположенной вдали от города в отдельном доме. Следовательно, атака заминированного самолета придется не на гору Сталина, а в аккурат на осиное гнездо. С агентурной сетью будет покончено раз и навсегда.

— Так что командуйте, дядя Хаджарат!

Попыхтев и поработав инструментами, подростки сдвинули полуторку с места и вытолкнули ее на асфальт. Хозе сел за руль, в кабине поместилось еще двое мальчишек, Хаджарат важно уселся рядом с ними на липкое, вонючее сидение, куда услужливо уложили несколько газет. Остальные ребята по команде Хозе вытолкнули полуторку с ровного пяточка на спуск, а сами быстро вскочили кто на подножки, кто на сохранившиеся доски кузова.

С жутким скрежетом прокручивались кривые, ржавые диски колес. На влажном асфальте автомобиль болтало от одного края дороги до другого, но он упорно набирал скорость на крутом спуске. Хаджарат важно восседал в кабине с улыбкой на лице и привычным огоньком в глазах. Вероятно, он воистину ощущал себя пупом земли, руководителем и вождем масс.

Грузовик вылетел на перекресток у виллы Алоизи, на приличной уже скорости промчался по крутому спуску Горийской улицы и, подпрыгнув, продолжил путь по улице Берия. Представьте на минуту, как по одной из центральных улиц сонного, спокойного курортного города несется какая-то адская колесница с десятком гогочущих и визжащих мальчишек.

Хаджарат же напоминал человека, который только что спал и видел прекрасные сны и вдруг проснулся в кабине самолета, оставшегося без управления. Посерев от ужаса, он возопил неожиданным фальцетом:

— Тормуз давай, тормуз!

— Нет, дядя Хаджарат, не могу. Тормоз и мотор враги вывели из строя, — спокойным голосом отвечал Хозе.

— Тормуз! — продолжал орать бывший джигит.

Тем временем автомобиль выскочил на плоский асфальт и начал постепенно замедлять ход. Проскрежетав еще немного, он остановился у входа в Ботанический сад прямо напротив городского отдела милиции.

— Делаем ноги! — скомандовал Хозе.

Мальчишки моментально исчезли. В искореженной кабине грузовика еще некоторое время маячил силуэт мужчины, но вскоре и он незаметно растворился в морозящем дожде.

Вокруг адской колесницы собралась толпа зевак. Подошли несколько милиционеров из горотдела, но все расспросы ничего не прояснили. Народ только охал-ахал и в недоумении разводил руками.

Останки полуторки куда-то поспешно уволокли, и скоро все забыли о странном автомобиле без мотора, появившемся в центре города непонятно откуда и каким образом.

А как же Хаджарат? — спросите вы.

А Хаджарат после этого случая исчез. Нет, не носильщик. Его-то, как и прежде, постоянно видели на вокзальном перроне, нагруженного чемоданами и узлами. Исчез Хаджарат Кяхба, секретный революционный абрек. То ли стубили народного героя агенты мирового империализма, то ли и впрямь забросили бедолагу в стонущую под гнетом диктатора Франко братскую Испанию. Кто теперь знает?

А про носильщика ходили слухи, что молился он тайно в святилище Дыдрыпш, принес в жертву белого козленка и дал обет — чачу проклятую никогда больше в жизни в рот не брать.

И не брал.

Как арестовывали Бухту

«Уа-уа-уа»... Исторгая леденящие кровь звуки, несется по улице допотопный, громяхающий автомобиль красного цвета. Летит как на пожар...

Впрочем, это на самом деле пожарный автомобиль. А на пожар ли он мчится? Может, это просто учения? Кто знает... Но сирена будоражит полусонный город.

— Что случилса, уважаимый Христо? Уара, вы не знаете?

— Нет, Адица, ризам¹, но я слышал стрельбу.

— Саседи, дарагие, на городе слухи идет! Пожари, канечно, эсть, но это мелочь жизни, а настоящий катастроф жизни ешо до пожари был. Бухта Гулиа на мелиция стреляла, мелиция многа убила, патом граната взривала. Вот!

— Да вы что, дядя Абессалом, неужели правда?! А сам Бухта жив?

— Мамои клианусь, чистый правда! А Бухта и его жена пагибли, я думаиу.

¹ Ризам — дорогая (абх.).

Оставим на время рассказ о пожарном автомобиле и обеспокоенных соседях. Запомним одну только фразу из их разговора: «На городе слухи идет».

Слухи ходят обычно вместе с легендами и мифами, но на полшага впереди. И с каждым пересказом того или иного факта он, этот самый факт, приобретает все новые и новые, часто выдуманные, детали. Поэтому не могу полностью поручиться за достоверность излагаемой истории, которую я слышал от разных людей. В разное время. И с разными толкованиями. Но все, чему я сам был свидетелем, — правда.

Братья Гулиа жили в районе Турбазы. Было их четверо, насколько я помню. Старшего звали Ален, потом шли Вахтанг, известный больше как Бухта, и Миша. Младшим был Котик. Еще у них было несколько сестер. Мне приходилось бывать в доме Гулиа, так как мой старший брат Хозе дружил с Котиком. Иногда, отправляясь к другу, он брал с собой меня.

Старшие Гулиа — Ален и Бухта — были людьми легендарными, хорошо известными в городе. За обоими тянулся шлейф яркого криминального прошлого. Если мне не изменяет память, они входили в банду, прославившуюся громкими и дерзкими ограблениями, в том числе почтовых поездов. Мише, помнится, тоже приходилось бывать «на зоне».

Но лихие годы уходили в туман прошлого, времена менялись, и возраст уже давал о себе знать. Потихоньку старшие братья Котика уgomонились и приспособились к «гражданской» жизни. Но былой авторитет остался. И частенько к братьям обращались горожане с просьбой рассудить их, «разрулить» сложные жизненные ситуации, быть третейскими судьями.

Вот что поразительно! Не только братья Гулиа, но все криминальные сухумские «авторитеты», которых я помню, отличались удивительной щепетильностью в вопросах справедливости и чести. Казалось бы — парадокс. Человек, не таясь, подтверждает: он действительно «вор в законе», то есть преступник, стоящий за гранью норм и правил общественной морали. Но почему люди зачастую искали защиту не в прокуратуре или милиции, а у таких личностей, как Ален и Бухта Гулиа? Откуда бралось у преступников обостренное чувство справедливости? И почему истина была для них важнее всего? Самый захудалый горожанин мог быть абсолютно уверен: если он прав в конфликте с родственником или другом третейского судьи, то судья, невзирая ни на что, встанет на его сторону.

Я плохо помню старших братьев Гулиа. У Алена были больные ноги и передвигался он по дому на костылях. Мишу не помню совсем. Бухта запомнился добродушным, улыбчивым и подвижным крепышом. И очень шумным. Вписавшись в гражданскую жизнь, он начал работать в торговле и вскоре получил под свое начало продуктовый магазин. Торговый павильон, обшитый металлом и выкрашенный в ядовито-зеленый цвет, стоял на улице Кирова по соседству с пустырем и недалеко от пересечения с улицей Фрунзе.

Посадил Бухта за кассу собственную жену и стал трудиться в поте лица во благо советской власти. Вернее, работал он сугубо на себя, хоть и в системе государственной торговли.

В сталинские времена торговля еще не была столь криминализованной, какой она стала спустя всего несколько лет. Над ней, как и над всей огромной страной, витал страх. Конечно, торговцы подворовывали всегда, но в те годы делали это, видимо, с осторожностью. Аресты торгашей и суды над ними были

редкостью. Термин «хищение социалистической собственности» был еще не в ходу. Пойманных на воровстве торговых работников судили как «растратчиков».

Бухте было неведомо чувство страха. И на вождей разного уровня ему, видимо, было наплевать. Думаю, что в его магазине «левым» был почти весь товар. А может, и полностью весь. С неизменной улыбкой на лице, с пистолетом за поясом таскал на себе неутомимый Бухта мешки с сахаром и макаронами, ящики с пивом и огромные бутылки с чаечей.

Кстати, об оружии. Я думаю, именно с легкой руки Бухты стала обыденностью небольшая хитрость. Каждое утро Бухта писал заявление на имя начальника милиции с просьбой принять пистолет, якобы найденный им сегодня в кустах у дома. В милиции все прекрасно знали и о пистолете, и о «левом» товаре, но никто Бухту не трогал. Может быть, решили: пусть уж лучше торгует «паленой» чаечей, чем совершает налеты.

Что послужило причиной внезапной немилости, мне неизвестно. Ходили слухи, что МВД Грузии проводило в Абхазии свою тайную операцию. Такое изредка практиковалось. У тбилисцев была в регионах своя агентурная сеть, и они, как правило, местных коллег о начале действий заранее не информировали. Возможно, так и было на сей раз.

Операция же против Бухты напоминала войсковую.

К павильону подъехали несколько машин и картинно, со скрежетом тормозов, влетели на тротуар. В несколько секунд магазин был оцеплен вооруженными людьми. Несколько командированных оперативников ворвались в магазин, держа руки на расстегнутых кобурах. Расчет делался на неожиданность.

Но надо было знать Бухту!

Представьте себе его магазин. Небольшое помещение было перегородено узким прилавком, позади которого высились стеллажи с продуктами и стояли на полу мешки и бочки. В левой части прилавка помещался кассовый аппарат, за которым восседала дородная супруга Бухты. Справа в дальнем углу магазина был выгорожен небольшой фанерный закуток, где хранились мыло, синька, керосин в бутылках... Рядом располагался небольшой столик, а на нем лежали журналы бухгалтерского учета с надписью «Амбарная книга». Под столом стояли две десятилитровые бутылки с чаечей. В магазине был всего один продавец, дальний родственник жены. С ним-то и беседовал Бухта, стоя за прилавком рядом с кассой.

Увидев оперативников, он и бровью не повел. Изобразив на лице великое удивление, Бухта медленно извлек из нагрудного кармана рубашки сложенную вчетверо бумажку и с широкой улыбкой протянул ее вошедшим. С места, правда, не тронулся. Остался стоять позади прилавка.

— И зачем же? Стоило ли вам беспокоиться? Я вот как раз с этим пистолетом в милицию и собираюсь.

Тбилисские опера опешили:

— С каким пистолетом?

О пистолете они ничего не знали и прибыли, чтобы задержать крупного растратчика. Взять его собирались максимально шумно, картинно. В назидание другим. Так что первый ход Бухта выиграл. Внес в ряды неприятеля хоть небольшое, но смятение и выиграл время.

— Как с каким? Да с тем, что я сегодня нашел. А как вы о нем узнали? Да в нем, небось, и патронов-то нет. Вот, возьмите, посмотрите сами, раз пришли.

Медленно, чтобы не дать милиционерам повода для радикальных действий, он двумя пальцами брезгливо выудил пистолет из-за пояса. Затем все так же держа оружие левой рукой за ствол, двинулся вдоль прилавка в сторону оперативников. Они с любопытством наблюдали за Бухтой, совершенно потеряв бдительность. То, что произошло потом, присутствующие, не сговариваясь, сравнивали со сценой из фильма «Дилижанс», который был первым американским вестерном, появившимся в советском прокате, и шел как раз в те годы под названием «Путешествие будет опасным».

Бухта, совсем как актер Джон Уэйн, в долю секунды перекинул пистолет из левой руки в правую, сдвинул предохранитель и стал палить... в дальний угол магазина. В баллоны с чачей.

И пока опера вытягивали из неудобных кобур наганы и ТТ, наш герой швырнул им свое оружие, грохнулся на пол под защиту хлипкого прилавка и завопил:

— Не стреляйте! Не хотел я, все случайно получилось, руки затряслись! Сдаюсь, сдаюсь!

Невидимый за прилавком, он щелкнул зажигалкой и швырнул ее в угол. Крепкая как спирт чача запылала. Затем раздался громкий хлопок. Это взорвался керосин, залив пламенем большую часть помещения.

Оперативники в ужасе бежали. Вслед за ними Бухта вытолкнул на воздух свою жену и родственника. Сам же полез на оперативников с кулаками:

— Что же вы, уроды, наделали? По миру мою семью пустили! Это вы виновны в пожаре. Сейчас же иду к прокурору.

Ошеломленным милиционерам пришлось всерьез отбиваться от Бухты.

К этому времени павильон был охвачен огнем. Горели «левые» сахар и макароны, «паленая» чача, взрывались бутылки с шампанским. И что самое важное для Бухты, сторели липовые бухгалтерские книги. Когда к павильону добрался наконец пожарный автомобиль, вызванный соседями, тушить было нечего. Хнычущего Бухту оперативники, конечно, арестовали. Но через два дня по настоянию прокуратуры отпустили. Предъявить ему было нечего.

Бухта в очередной раз стал героем дня.

История же его захвата долго гуляла по городу, обрастая невероятными подробностями. В них Бухта обстреливал оперов из пулемета Дегтярева, положил батальон солдат, забрасывал броневые автомобили привезенными из Сванетии немецкими противотанковыми гранатами (интересно, думал ли рассказчик о том, зачем германским альпийским стрелкам, воевавшим в сванских горах, понадобились противотанковые гранаты?). Освободили же его якобы по личному указанию Лаврентия Берии и увезли в Москву преподавать в диверсионной школе.

На самом деле Бухта Гулиа из советской торговли уволился. Работать же начал, как говорится, по железнодорожному ведомству. Директором вагона-ресторана.

Веселого, хлебосольного, острого на язык крепыша в белом халате и железнодорожной фуражке знали многие граждане огромной страны. Ибо отдых в Абхазии предполагал передвижение по железной дороге. Самолеты в те годы были транспортом экзотическим. А какой же путешествие без душевных разговоров за чаркой водки или бокалом вина в вагоне, называемом рестораном!

Младший же брат Бухты, Константин Гулиа — Котик, школьный друг моего брата Хозе — стал известным журналистом, поэтом и общественным деятелем.

Ольга Балла

Рах Sovietica: большое послесловие — или?..

«Национальные» номера «толстых» журналов

В минувшем году сразу несколько центральных «толстых» журналов посвятили отдельные свои номера литературам бывших советских республик. Почти все они вышли в рамках связанного с Годом литературы проекта Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (кроме литовского номера «Иностранной литературы» и украинского номера «Нового мира»). Увы, Азербайджан, Туркмения, Киргизия и Таджикистан остались за пределами проекта.

Что происходит на бывших имперских окраинах спустя четверть века после распада Рах Sovietica? Как идут их выздоровление от империи, работа с травмами XX века, освоение собственных, суверенных исторических смыслов? Как там сегодня видят самих себя и Россию? Все ли еще длится послесловие к советскому опыту — или уже пишутся совсем новые главы другого, неведомого нам текста?

«Национальные» номера журналов отвечают на эти вопросы — и даже ставят их — с разной степенью полноты.

По идее, опыт бывшего имперского центра должен был бы — мог бы — научить нас особенному роду зоркости, внимания к тем, кто раньше был с нами в одном трюме чудовищного, как броненосец в доке, государства, а теперь плывет своими путями. Нас должна (может) научить этому новообретенная дистанция. Все время хочется думать — хотя, быть может, ошибочно, — что уже прошло время и слепоты друг к другу из-за рутинного сосуществования в одном всеусредняющем государстве, и (за исключением особенного, трагического украинского опыта) обид друг на друга и отталкивания друг от друга. Самое время учиться друг у друга.

Что же получается на самом деле? Попробуем составить себе представление об этом.

* * *

Больше всего повезло литературам Литвы и Казахстана — а вместе с ними и нам: каждой из них досталось внимание сразу двух журналов, нам же — счастливая возможность узнать о них гораздо больше, чем о словесностях других постсоветских стран. Литовской литературе посвящены мартовская «Иностран-

ка» целиком и часть сентябрьского «Октября» (в котором она делит пространство с эстонской и латышской). Литературе Казахстана — декабрьские номера «Невы» и «Нового мира».

Повезло нам тем более, что в каждом из случаев свой общий предмет эти издания рассматривают по-разному.

И дело не в составе авторов — хотя да, он почти не совпадает. В двух «литовских» журналах одно общее имя все же есть — это Томас Венцлова, без которого, согласитесь, разговор о Литве, о литовской мысли и слове обречен на неполноту. В обоих журналах — его стихи в переводе Владимира Гандельсмана, а в «Иностранке», кроме того, — его же эссе о Москве шестидесятых. В «Иностранке» круг авторов шире — и основная их часть доселе оставалась русскому читателю неизвестной.

Все вошедшие сюда тексты — переводы. Почти все — с литовского, кроме тех двух, что составили совсем небольшой раздел «Россия—Литва»: Венцлова переведен с английского, Юргис Балтрушайтис (его письма к Джованни Папини) — с итальянского. По-русски здесь говорит только московский литовец — главный режиссер театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис со своим интервьюером Георгием Ефремовым; да Рута Мелинскайте с Марией Чепайтите — кстати сказать, составители номера — пишут по-русски о книгах, связанных с Литвой, и о русских тоже — в разделе «БиблиоФИЛ». И все.

И это, среди прочего, значит, что русскоязычная литература Литвы оставлена в этом варианте разговора о литовской словесности практически без внимания. В отличие от «Октября», где тексты трех из шести авторов литовского раздела — то есть ровно половина его — опубликованы в их русском оригинале: рассказ Далии Кыйв, стихи Лены Элтанг (пишущей только по-русски, но принципиально наднациональной, — и это второе, после Венцловы, известное и знаковое имя в литовской части журнала) и Таисии Ковригиной. (Забегая вперед — остальные разделы «балтийского» «Октября» организованы так же: переводы из латышских и эстонских авторов и там соседствуют с примерами литературы, пишущейся по-русски либо жителями этих стран — как Игорь Котюх, родившийся и живущий в Эстонии, либо выходцами оттуда, давно обитающими в иных краях — как Таисия Ковригина, выросшая в Литве, живущая в Абу-Даби).

Вряд ли так вышло потому, что люди, работавшие над номером «Иностранки», считают русскую компоненту литовской литературы незначительной или недостойной внимания. Просто там разговор в принципе — о другом. В «балтийском» «Октябре» речь скорее о взаимоналожении, взаимопроникновении, взаимодействии разных культур, литератур, языков, волею исторических судеб оказавшихся на одной территории. В литовской «Иностранке» — об обретении Литвой самой себя, о проведении границ. (Не отсюда ли — кажется, характерно литовская — тема границы, «пограничных ситуаций, вернее — проблема человека в условиях пограничья (или приграничья)», с упоминания которой Ефремов начинает разговор с Карбаускисом? Вспомним, что именно так — «Пограничье» — назывался и вышедший в минувшем году сборник эссе и публицистики Томаса Венцловы, рассмотренный, кстати, в «библиофильском» разделе «Иностранки». Типично литовское беспокойство?) Здесь важна работа самоопределения, выработки себя — «Рождение нации», как называется таинственный (ни слова о Литве! ни единого литовского имени! хотя все вполне

прозрачно, но... такое могло происходить где угодно) рассказ Саулюса Томаса Кондротаса.

Номер в целом недаром называется «Рассеяние и собирание» — именно это, считают составители, происходило с литовцами в XX веке. Два этих процесса, оба травматичные, стали для них формами самоосознания.

Составителей «Иностранки», при всем их внимании к разнообразию стилистических пластов литовской литературы, к широте диапазона ее возможностей, занимает, похоже, даже не в первую очередь литература как таковая, но судьба и историческое состояние народа, которые словесность отражает, как, может быть, ничто другое. Она — точный слепок с исторического состояния.

Этот номер журнала — в отличие от «Октября», повествующего исключительно о современности, — во многом ретроспективный, открывающий русскому читателю едва (если вообще) известное ему литовское прошлое и, насколько это возможно на ограниченной журнальной территории, соединяющий разные ее потоки в сложное и живое целое. «Оборванные звенья, — пишет Юрате Сприндите в статье «Вызовы постцензурной свободы», — соединились в живое целое, и стало ясно, что литовская литература, "расколота" пополам в 1944—1945 годы, вопреки прежней искаженной оценке, едина и неделима».

То, что мы хоть сколько-то знали в советское время под именем литовской советской литературы — лишь малая ее часть. Теперь нам показывают другие, не менее (не более ли иной раз?) полноправные ее части: написанное в эмиграции и в противостоянии советской власти. Мы прочитаем — кроме названного рассказа Саулюса Томаса Кондротаса, с советских лет живущего в эмиграции, — стихи и фрагменты дневника за 1938—1975 год Альфонсаса Ника-Нилюнаса (1919—2015) — поэта, переводчика, критика, бежавшего в 1944 году на Запад и проведшего основную часть жизни в США; записи журналиста Балюкявичюса, который в 1948—49 годах возглавлял сопротивлявшийся понятно кому партизанский отряд и погиб 25-летним; эссе священника-диссидента, проведшего семь лет (1979—1986) в сибирской ссылке... И эти тексты здесь — на равных правах и в одном ряду с тем, что писал, скажем, заслуженный деятель культуры Литовской ССР (1990) Ромуальдас Гранаускас (1939—2014).

Номер получился не просто представительным, но весьма аналитичным. Сам его тщательно подобранный состав — уже рефлексия. «Осмысление опыта рассеяния и воссоединения <...> — пишут составители, — принесло плоды, которые не созрели бы раньше». Травматический опыт XX века, полного разрывов и утрат, парадоксальным (ли?) образом способствовал богатству и сложности литовской литературы. (Ей пошел на пользу даже советский период с его навязанным упрощением образа мира и самих себя: «Советское время, — сказала некогда президент Ассоциации литовских издателей Лолита Варанавичене, — подарило нам одну хорошую вещь — любовь к книге».) Литература литовцев, пожалуй, и для них самих до сих пор еще во многом — в стадии открытия и освоения. Мы же и вовсе стоим только на ее пороге — и уже понятно, что тут есть что осваивать и над чем думать.

* * *

В отличие от «исторической» «Иностранки» балтийский номер «Октября» скорее культурологичный и даже отчасти экзистенциальный. Здесь нет речи ни о преодолении имперского наследия, ни о собирании насильно разрозненного,

ни об изживании травмы. Здесь, главным образом — о человеке в мире, проживающем себя и мир в ситуации двукультурия и двуязычья. О парадоксах и возможностях этой ситуации. О людях — междуирья ли? Двух ли миров сразу?

Таких здесь большинство. Таков уже самый первый из авторов номера — Ян (Яан) Каплинский, эстонский поэт, в 2014 году выпустивший первый сборник своих стихов, написанных по-русски, — и в «Октябре» он тоже опубликовал русские стихи. Из представленных здесь русских Эстонии таков буквально каждый. Журналист Андрей Хвостов, родившийся и всю жизнь живущий в Эстонии, автор эссе о запахах и звуках Таллина; поэты, прозаики и переводчики Елена Скульская (говорящая о себе: «Моя родина — это русский язык и литература» — и так могли бы сказать здесь многие) и Николай Караев; П.И.Филимонов — русский поэт и специалист по английской филологии, получивший премию фонда «Eesti Kultuurkapital» за лучшую книгу на русском языке. Людмила Глушкова — главный редактор русскоязычного журнала «Вышгород» и директор Эстонского культурного центра «Русская энциклопедия». Полурусская-полуэстонка Света Григорьева — вообще многомерная личность: хореограф, режиссер, актриса, поэт и критик (стихи — эстонские, даны в переводе). Олеся Ротарь — редактор выходящего в Эстонии русскоязычного журнала о культуре «Плуг». Борис Балясный — поэт и переводчик с эстонского, финского, украинского, болгарского, — родившийся в Житомире, переселившийся в Эстонию взрослым («после института попал по распределению в Эстонию, где остался жить. — пишет о нем Игорь Котюх, — выучил эстонский язык, основал Литературно-переводческую школу-студию, стал крупным переводчиком эстонской поэзии»). Наконец, сам Котюх — поэт и переводчик, специалист по эстонской литературе: ему здесь принадлежат не только стихи (русские), один из «рассказов с ладонь» (тоже русский) и переводы большинства эстонских текстов, но и цитированная выше статья «Русская литература и Эстония». Она интересна тем, что написана не просто о «приграничных явлениях русской литературы в Эстонии» (самое известное — Игорь Северянин, невольный эстонский житель и первый русский «последовательный переводчик эстонской поэзии»), но — что важно особенно — изнутри собственного, весьма нетривиального культурного, языкового, литературного опыта. Какую культурную нишу — и языковую картину мира — создает себе человек (сложного происхождения — но с русским самосознанием), родившийся в крохотном городке на юге Эстонии и с самого начала живущий в окружении нескольких языков? «Дома и в школе это русский. На дворе эстонский. В библиотеке и книжном магазине <...> это вырусский диалект. Его отец с бабушкой говорят между собой на сетуском диалекте. А летом их семья посещает родственников по линии мамы, говорящих на украинском и белорусском. В России бывает проездом». Что при этом способно получиться? Сразу хочется ответить, что — редкая возможность полноты и объемности видения мира. Сам Котюх видит это сложнее и осторожнее:

Причислять себя к эстонцам — родной язык русский.
 Причислять себя к русским — не тот темперамент.
 Называться европейцем — привилегия избранных.
 Гражданином мира — слишком абстрактно.

Остаётся быть просто человеком.
 Но поймут ли?

Нервность, проблематичность ситуации двойной принадлежности — она же и двойная непринадлежность? — проговаривает и Света Григорьева. Не прямо, скорее интонациями и общим напряжением, скрытым вызовом возможным, только предполагаемым еще упрекам в чуждости с любой стороны:

я родилась в 1988

нет я не говорю по-эстонски
с акцентом
тем более
когда не называю свое имя
и я не говорю по-русски с акцентом
тем более когда не называю имя своей матери-эстонки

читай это стихотворение
только не смотри на мое имя

читай это стихотворение
без моего имени

и скажи ещё
что я говорю с акцентом...

Многокультурны (очень мне нравится тяжеловесное, но точное словцо «многопринадлежностны», пусть будет здесь хотя бы в скобках) и авторы латвийской трети номера. Может ли быть отнесен к латышской литературе — хотя бы к литературе Латвии — открывающий эту часть журнала уроженец Риги Александр Генис, русский, давным-давно живущий в США и по-латышски, насколько известно, никогда не писавший? По крайней мере, без этой земли он не был бы самим собой — поэтому он тут. Скорее всего, многим в себе и в своей поэзии обязан Латвии и поэт Олег Ленцой, родившийся в Приморье, учившийся в Риге русской филологии и пишущий русские стихи. И русские рижане Семён Ханин и Сергей Тимофеев (их тексты — снова в оригинале!). Лишь пятый по счету автор этой части — поэт (а также переводчик, художник и ученый-лингвист) Валт Эрнштрейт — оказывается наконец переведенным с латышского, и мы видим латышскими глазами Ригу — город трудный и жесткий:

Волки воют в ледяной темноте ноября.
Последняя волчица Риги вышла из логова,
встала из пыли металла, стальных балок, электромоторов,
идёт требовать свою долю.

Идёт, чтобы перегрызть Риге
сонную артерию...

Далее рядом с латышскими авторами — Артисом Оступсом, Рональдом Бриедисом, Кришьянисом Зельгисом, Карлисом Вердиньшем — снова возникают люди междумирья: живущий на два города, Ригу и Москву, уроженец латвийской столицы Андрей Левкин с его штучной работой с русским языком и сознанием — и рижским пространством, писатель и художник Свен Кузьмин, активно работающий в латышской культуре, но пишущий и по-русски (в «Октябре» — его русский рассказ), и снова русские рижане — поэты Дмитрий Сумароков (показывает нам свою Ригу, город странного постисторического безвременья: «Пуэрто-Рига, / забытая кем-то на пляже немецкая книга / с

ленивой рекой-закладкой...») и Елена Глазова, прозаики Владимир Ермолаев и Елена Катишонок...

Русскоязычные междумиряне оказываются в конечном счете в большинстве. Почему? Они ли определяют общую картину?

И, к сожалению, — ни единого аналитического текста о сегодняшней латышской литературе.

В целом же в балтийском «Октябре» рефлектируется не конфликтная сторона многокультурной и пограничной ситуации (которая уж наверное есть!), но, скорее, само ее устройство — и плодотворность.

Конечно, темы самообретения и самоопределения было не миновать. Виргиния Цыбарауске обозревает тенденции литовской поэзии последних трех десятилетий, группируя авторов по дате рождения и дебюта, и разбирается с вопросами, претендующими на статус вечных: «действительно ли полемика с доминирующей традицией означает кризис культуры, а поиски личного взаимоотношения с культурной памятью всегда являются десакрализацией?» (Полезно читать вместе с мартовской «Иностранкой» — здесь мы встретим имена некоторых ее авторов — например, поэта Сигитаса Парульскиса.) Нам представлены и чистые, без всяких пограничностей, образцы воплощенного в литературе мировосприятия и душевного устройства жителей балтийских стран (яркий пример — рассказы эстонца Мехиса Хейнсаара, вполне, кажется, понятные человеку русской культуры, но резко экзотичные для него).

Вообще же составителей сентябрьской книжки «Октябрь» занимает не столько разделение, сколько симбиоз и синтез — даже если он не вполне удастся или небезболезнен. «...Освоение "чужого", — пишет Людмила Глушковская, — одна из созидательных функций русской культуры». А Олеся Ротарь на примере своего журнала показывает, как (и почему вообще!) работает русское интеллектуальное предприятие в эстонской культурной среде. Неплохо, оказывается, работает.

* * *

Первое, что бросается в глаза в декабрьском номере «Невы», посвященном Казахстану: решительно все, без изыятия, тексты, написаны по-русски — независимо от происхождения авторов, от нынешнего их места жительства, от принадлежности к тому или иному поколению (то есть от возраста, в котором они встретили крах империи). Эта литература продолжает создаваться на русском языке, даже когда речь идет о чисто казахских обстоятельствах (как, например, у Данияра Сугралинова или у Заира Асима). Ничего подобного мы не видим, скажем, в грузинском или литовском номерах.

Ведущая тема номера — посткатастрофическое состояние. О нем, с той или иной степенью интенсивности и художественной силы — почти у каждого из авторов. Тексты Олжаса Сулейменова, открывающие номер, полны живой памятью о катастрофе:

<...>Эти стены полгода горели от масляных молний,
Двести дней и ночей здесь осадные длились бои.
Перекрыты каналы. Ни хлеба, ни мяса, ни сена,
Люди ели погибших и пили их теплую кровь.
Счёт осадных ночей майским утром прервала измена,
И наполнился трупами длинный извилистый ров.

Только женщин шадил, великих, измученных, гордых,
Их валяли в кровавой грязи возле трупов детей,
И они, извиваясь, вонзали в монгольские горла
Иступлённые жала изогнутых тонких ножей.
Книги! Книги горели! Тяжёлые первые книги!
По которым потом затоскует спалённый Восток!<...>

И одновременно с этим — тоска по мировой культуре и языческая, хтоническая мощь, нерастроченные силы, не оплакивание жизни, но страстное требование ее, желание начать мир заново:

Я бываю Чоканом! Конфуцием, Блоком, Тагором!
...Так я буду стоять, пряча зубы, у братских могил...
Я согласен быть Буддой, Сэсю и язычником Савлом!...

Восьмидесятилетний поэт — старший среди авторов номера — превосходит их всех по дикой жизнеутверждающей силе и согласен быть начинателем мира, основопологателем его будущих коренных течений! Кроме него под этой обложкой на подобное не отваживается никто.

И вот еще одна бросающаяся в глаза особенность представленной нам тут казахстанской литературы: внимание не столько к густому и горячему центру жизни, сколько к ее окраинам: к началу и концу. К тем областям, в которые заглядывает небытие. И это тоже независимо от возраста авторов.

Два рассказа Бахытжана Канапьянова (родившегося в 1951-м) — о восходе жизни и о ее закате: о детстве художника (автор оставляет его на пороге юности) и о последних часах и минутах старого ученого, успевающего перед смертью вспомнить всю свою жизнь и проститься с нею.

Данияр Сугралинов (родившийся в 1978-м, заставший конец Союза тринадцатилетним) пишет моралистические сказки из казахстанской жизни. Пожалуй, это наиболее благостные и наименее глубокие тексты номера (за исключением, может быть, одной сказки, в середине которой читателю, даже взрослому, становится по-настоящему страшно: у мальчика, по одному его эгоистичному, моментально исполнившемуся желанию, бесследно исчезает брат, как будто его никогда не было. И мальчик чувствует бессилие перед неустранимыми последствиями собственного желания... пока автор не избавляет его от этого одинокого ужаса, возвращая брата вместе с прежней жизнью).

Стихи бывшего карагандинца Владимира Шемшученко, живущего теперь в Ленинградской области (1956 года рождения), — об усталой, больной, сожженной жизни в родном — и навсегда оставленном — городе автора:

Вечер сыплет крупу антрацитовый пыли
На усталых людей, доживающих век.
Город мой, ведь тебя никогда не любили!
Сказки здесь так похожи на страшные были,
Что кровит под ногами карлаговский снег.
<...>
На сожжённую степь, на холодный рассвет
Дует северный ветер — гонец непогоды.
На дымящие трубы нанизаны годы...
В этом городе улицы в храм не приводят,
Да и храмов самих в этом городе нет.

Любви к Казахстану, похоже, нет и у него самого: «Я задохнусь в каганате. Я уезжаю. Прости». В другом стихотворении он, правда, говорит о казахах: «А мы ведь их действительно любили / И, как ни странно, любим до сих пор». Но как-то не очень верится, тем более что несколькими строчками выше — вот что:

И среднеазиатскому меньшинству
 Дозволено на улицах кричать,
 И «русскому невиданному свинству»
 Своих детишек в школах обучать.
 А говорили — мы баранов съели,
 И зверски распахали целину,
 И с кровью кровь мешали, как хотели,
 И (вай, уляй!) ломились в чайхану.

Шемшученко открыто признается, что крушение СССР для него — и для всей окружавшей его жизни — катастрофа:

Разорвали империю в ключья границы,
 Разжирили мздоимцы на скорби людской.
 Там, где царствует ворон — веселая птица,
 Золотистые дыни сочатся тоской.
 Южный ветер хохочет в трубе водосточной,
 По-разбойничьи свищет и рвёт провода...
 Всё назойливей запахи кухни восточной,
 Но немногие знают — так пахнет беда.

И даже — прямее некуда: «Я бы вырвал по плечи руки / Тем, кто сбросил с Кремля звезду!»

Ну, ладно, Шемшученко — проживший в Советском Союзе большую и, наверно, лучшую часть своей жизни. Но вот и русские стихи казаха Заира Асима, родившегося в 1984-м — начало постсоветской истории он встретил семилетним, практически застал ее как данность — об усталой, больной, по существу тоже ведь посткатастрофичной жизни:

<...> Алмата в январе —
 грязный огрызок яблока
 рыхлая мякоть снега
 искусана муравьиными тропами
 следами обыденного изгнания
 серый прокуренный город
 ширится в глазах памяти
 тридцатью годами дыма
 серебряное солнце мерцает
 монетой на дне облаков
 тянется позвоночник гор
 высится шприц башни
 вколотый в мутное небо <...>

Если судить по публикациям этого номера, очень похоже на то, что серьезная работа разграничения (между имперским наследием и последующей историей, между русским и национальным, между навязанным извне и собственным) здесь не проводится, даже не начата. Идея преодоления советского наследия, кажется, в принципе не очень популярна. Крушение империи переживается — притом людьми очень разных поколений, включая и тех, что встретили девяносто первый год детьми — как катастрофа, отбросившая

здешнюю жизнь далеко назад, в лучшем случае — в архаику, в худшем и более характерном — в умирание. Даже если само событие, суть его уже не помнится.

Так Адильхан Сахариев, родившийся в 1982 году, пишет страшную постапокалиптическую прозу о мире, совершенно разрушенном, существующем уже почти по ту сторону смерти, сквозь который прорастает архаика — глубокая, доисламская, дохристианская, доцивилизационная. Как, когда этот мир стал таким? Этого в памяти уже нет. «Старики, я хочу знать, как погибли мои города!», — требует восьмидесятилетний Сулейменов. У героев тридцатитрехлетнего Сахариева такой вопрос даже не возникает.

«Жулдызым» — рассказ о вымирающем полустанке, на котором среди спивающихся и ищущих смерти людей, «обманутых временем и никому не нужных», остался один-единственный ребенок — немая (зато одаренная сверхчуткостью к чудесному) девочка. И ту, к счастью, оттуда увозят. Но все ее родные остаются там умирать — уже без всякой надежды.

«Говорят, что первый поселенец в этих краях был сумасшедшим. Он искал счастье в пустыне. Оно оказалось в безумии. Мы, наверное, его потомки. Потому что все здесь появляются на свет полоумными или становятся такими. А в последнее время никто не рождается. Ты была последней. Эта земля — дом только для мертвых и юродивых. Остальные — вечные изгнанники, как их предшественники — бывшие заключенные, изгнанные из тюрем и обосновавшиеся здесь... Мы живем на могилах изгнанников. Они, видимо, прокляли нас, мстят нам и не успокоятся, пока не исчезнет с лица земли последний из нас. А последняя из нас — это ты. Мы пытались убежать от вездесущего рока. Построили железную дорогу. Десятки лет она нас кормила, десятки лет мы ее грабили. Но и она создана на человеческих костях. Теперь никому не нужна. А мы вымираем. Молодежь дуреет. Больше не слышно детского смеха, потому что нет самих детей. Рок нас догнал. Ангелы покинули наши края. Осталась только ты — наш последний ангел. И если не будет тебя, то, наверное, не будет и этого хаоса, в котором мы живем. А значит, и нас не будет. Нужно беречь тебя». Так говорил маленькой Аяне дедушка «в пьяном бреду, а наутро все забывал».

Схлестнувшиеся в этом мире в последней битве силы жизни и смерти (как в повести Сахариева «Волчьи пляски» об извечной и безнадежной борьбе людей и волков) уже почти не отличаются друг от друга. Обе страшны. Лишь едва-едва сквозь каждую из них процарапывается смутная, рудиментарная память о ценностях, о морали, о любви. Она пока еще есть — но надолго ли?

Почти все время читателя не оставляет чувство, что настоящая жизнь, в чем бы ни состояла, для большинства авторов этого номера не вполне здесь — а то и совсем не здесь. Она где-то (или когда-то) еще.

В опубликованных в этом номере стихах карагандинца Валерия Михайлова (родившегося в 1946 году и проведшего в Казахстане всю жизнь) ни казахского, ни казахстанского нет вообще — по ним даже не догадаешься о том, что автора с этой землей связывает хотя бы география. Он говорит, думает и чувствует исключительно о России, о ее народе и ее языке: «Казак уральский, на дорожку выпив чая, / Как водится у русских испокон, / Прощался с другом и, слов сказочных своих не замечая, / Обыденно промолвил: "А свату моему *скажи поклон*"»; «<...> воздух Родины, земная грусть уходят ввысь прозрачно, немо, глухо / Туда, где ждет нас всех, любя, небесная Святая Русь»; «Война против нас

не кончалась, / Война эта будет всегда. / Одна ты, Россия, осталась, / Как в небе пред Богом звезда».

Ничего казахстанского или казахского нет и в стихах одного из самых сильных авторов номера — у выросшей в Казахстане, живущей в Москве русской немки Елены Зейферт. Русское и московское — есть, немецкое — есть (Зейферт — человек из тех, чья родина — прежде всего язык, в данном случае — два языка, русский и немецкий, сильные питающие источники). Казахского — ни единого слова. Зато есть большая витальная сила, страстная любовь к жизни, к ее основам — помимо, прежде и по ту сторону любых исторических обстоятельств:

сон склоняясь в предложном скорее похож на снег
плавкий и незаконченный ангелов перистых пот
что стекая на землю становится легче пера
Schnee! мой зыбкий не выпавший Schnee это имя идёт
твоим белым рукам целовавшим меня до утра
талой влаге висков и всему что весомо во сне

Читатель готов уже думать, что русская и казахская жизнь в этой стране почти не заметили друг друга, особенно русская — казахскую (говорящую во многом на ее языке!). Такие предположения не вовсе лишены оснований. Пишущий на русском казахстанец Илья Одегов, например, о литературной жизни говорит в том же номере следующее: «К сожалению, русскоязычные авторы в Казахстане и авторы, пишущие на казахском языке, практически не знакомы друг с другом. <...> И я даже не понимаю, как нам друг друга найти». Но на мысль о том, что это все же не вполне так, наводит повесть, написанная Валерием Куклиным и Александром Загрибельным — «Белый осел». Она — целиком из казахской жизни (кстати — в ее неотделимости от русской, в их трудной, иной раз конфликтной, но неразрывной взаимопереплетенности), с явно хорошим ее знанием (включая и знание языка!) и внимательным чувством.

Впрочем, тема катастрофы оказалась неминуема и здесь. «Стоя на одной распухшей от любви к родине ноге, огромная страна однажды подкосилась и упала.»

Самым же интересным в номере кажется мне анализ современных литературных процессов в Казахстане: в рубрике «Астана — Санкт-Петербург. Диалоги культур» — ответы на вопросы редакции журнала о литературной жизни их страны писателей Михаила Земскова, Юрия Серебрянского, Ильи Одегова, Светланы Ананьевой, Валерия Михайлова (все — казахстанцы, и, увы, лишь стихи Михайлова мы прочитаем в самом номере; а мнений казахов не услышим ни одного), в рубрике «Критика и эссеистика» — размышления Веры Савельевой о рассказе в современной прозе Казахстана, Светланы Ананьевой — о прозе Мориса Симашко, Надежды Черновой — о рано ушедшем из жизни писателе, поэте, мыслителе, музыканте Алексее Брусиловском (здесь тоже авторы всех статей, как и их герои, — казахстанские русские), в «Публицистике» — статья доктора филологических наук Бейбута Мамраева о казахской литературе начала XX века. И в этой же рубрике — статья Уалихана Калижанова об истории казахов.

* * *

В отличие от казахского номера «Невы», в посвященном той же теме «Новом мире» наконец-то представлены переводы с казахского — оба поэтические. Правда, написаны переведенные стихи давно и принадлежат перу казахских классиков: Абая Кунанбаева (1845—1904) и Магжана Жумабаева (1893-1938). Если первого русский читатель себе еще как-то представляет (в основном, подозреваю, благодаря движению «ОккупайАбай», потрясшему столицу в декабре 2011-го и ныне стремительно погружающемуся в забвение, — тогда, помнится, даже переиздали тексты Абая, вокруг памятника которому на Чистых прудах группировались протестующие, — интересно, многие ли прочитали?), то имя второго, по всей вероятности, большинству из нас ничего не скажет.

А между тем Абай был мощнейшей культурообразующей личностью — «поэт, философ, композитор, просветитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурами на основе просвещенного либерального ислама. В истории казахской литературы Абай занял почетное место, обогатив казахское стихосложение новыми размерами, рифмами и стихотворными формами. Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написаны поэмы, «Слова назидания». Он был также талантливым и оригинальным композитором, создал около двух десятков мелодий, которые популярны и в наши дни. Абай Кунанбаев оказал большое влияние на зарождавшуюся казахскую национальную интеллигенцию конца XIX — начала XX века». Обо всем этом сказано в коротком подстрочном примечании (а стоило бы — в основательной аналитической статье).

Жумабаев же, поэт, писатель и педагог, убитый советской властью, почитается как основатель новой казахской литературы и, по словам академика АН КазССР Алкея Маргулана, «имеет для казахского народа такое же значение, какое для англичан Шекспир, для русских — Пушкин».

«Вошедшие в эту подборку стихи Абая и Магжана, — пишет переводчик Илья Одегов, — не просто выдающиеся голоса двух разных поколений. Это две совершенно разные энергии. Абай — тяжелый, мудрый, печальный, вросший в землю, как старое дерево. И Магжан — стремительный, гарцующий, ироничный, жизнелюбивый».

Одегов не только перевел их стихи, но и предварил переводы вступительной статьей — небольшой, но не менее интересной, чем сами представленные образцы казахской поэзии. Там говорится о том, чего в русском общекультурном сознании практически нет: о том, как устроен казахский язык и казахская поэзия, какие из этого устройства следуют трудности восприятия и перевода, на каких путях они разрешаются — если разрешаются вообще. «В казахской поэзии много ловушек. На первый взгляд, все просто. Идет традиционная, отработанная веками, форма построения строфы, где срифмованы окончания первой, второй и четвертой строки, а третья строка существует как бы самостоятельно (в ней, кстати, часто и скрывается главная мысль). Но приглядываешься внимательнее и видишь, что рифма-то сплошь и рядом фонетически не точная, не "любовь-морковь" и "слезы-грезы", а скорее ритмическая: "бала-шама", "жарыс-табыс", "пана-жара" и т. д. Зато обнаруживается добавочная рифма, где-нибудь в середине строки. И это при работе с традиционной формой. А что уж говорить

о стихах Магжана Жумабаева, который традиционными формами часто пренебрегает и создает собственную, авторскую форму.

Или ритм, размер. Слушаешь поэта и думаешь, что ритм ровный, постоянный, а начинаешь читать стихотворение на бумаге и понимаешь, что вот здесь слог лишний, а там — даже два. Здесь синкопа, там эпентеза. В устном исполнении такие нюансы нивелируются, и поэтому нетренированным ухом всего не услышать. Это как пытаться воспринять индийскую музыку в рамках европейских двенадцати полутонов, без учета того, что в индийской октаве двадцать две ступени. Но на бумаге форма построения текста раскрывается. И попробуй-ка передать все это на другом языке, на русском».

Современная же казахстанская литература представлена здесь, как и в «Неве», в ее русских оригиналах — включая и ту, что пишется казахами. (Из которых здесь — Ербол Жумагулов, Заир Асим, Айгерим Тажи, Азамат Байгалиев. Четверо. Да, они в меньшинстве.) С чем это связано — загадка, на страницах журнала разрешения не находящая. В «Неве» Илья Одегов признавался: «Несколько лет назад ко мне обратился заведующий отделом прозы российского литературного журнала «Дружба народов» Леонид Бахнов с просьбой подыскать для публикации в журнале интересные произведения современных авторов, написанные на казахском языке и переведенные на русский. Я расспросил всех знакомых, разместил объявления в социальных сетях — в общем, старался, как мог, но так ничего и не выяснил». А Юрий Серебрянский там же на вопрос «Как построено взаимодействие национальной и русскоязычной литератур Казахстана?» отвечает: «Не построено никак. <...> Переводы практически отсутствуют, и в этой ситуации казахскоязычные авторы в более выгодном положении, так как большинство из них превосходно владеют русским. Из современных русскоязычных книг, переведенных на казахский язык и вышедших в Казахстане, я могу назвать только свою повесть "Destination. Дорожная пастораль"». А из казахских — переведенных на русский? Нет не только ответа — нет самого вопроса.

Весьма неплохую общую картину казахстанской русской словесности читатель «Нового мира» может составить себе по рубрикам «Опыты» (в ней — статья Анны Грувер «Точка разборки» о прозе Ильи Одегова), «Литературная критика» (где Евгений Абдуллаев и Павел Банников рассуждают о русскоязычной литературе этой страны) и «Книжная полка», на которую Оксана Трутнева ставит книги исключительно современных казахстанских авторов. Вы уже догадываетесь: все русскоязычные.

У «Невы» и «Нового мира» есть общие авторы — представленные в разных изданиях разными текстами. Это — Заир Асим (здесь у него — стихи и повесть «Ксения»), Илья Одегов, Юрий Серебрянский (в «Неве» их участие ограничивается ответами на анкету о казахстанской литературе; в «Новом мире» у них — художественная проза).

На страницах «Нового мира» мы, наконец, получаем возможность познакомиться с творчеством писателей, определяющих, как говорил в «Неве» алмаатинец Юрий Серебрянский, современный литературный ландшафт Казахстана, но в «Неве» лишь упоминаемых: Павла Банникова, Айгерим Тажи, того же Ильи Одегова. Одегову, кроме того, посвящено в номере целых три критических статьи: Анны Грувер, Елены Скульской и подглавка в «Книжной полке» Оксаны Трутневой, пишущей также и о других авторах номера: о Ерболе

Жумагуле (Жумагулове), о Юрии Серебрянском, о русскоязычном алмаатинском армянине Тигране Туниянце.

Что до собственно казахстанской жизни, то в стихах здешних русскопишущих поэтов ее немного (или нет совсем, как у Туниянца). А вот из прозы о ней можно узнать много интересного и не общеизвестного. Например, из рассказа Марии Рябининой — о том, как чувствуют себя в ее стране ЛБГ — «лица без гражданства».

«Вот приеду, брат будет спрашивать, зачем мне гражданство. Он сам уже давно забыл о нем, сидит, поправляет только очки и смотрит в книги. А мне кажется, спокойнее быть к чему-то привязанной. А то как будто про тебя забыли. Как будто яблоки вывалились из большой повозки, когда у нее отвалилось колесо, и пара яблок закатилась в канаву у дороги. Все собрали, положили обратно и поехали дальше. А эти, в канаве, забыли. И они лежат там. Ничейные.

Родители наши тоже были без гражданства. Мы приехали в Ильинское, это совсем недалеко от Борового. Маленькая деревня, всего-то две улицы. Никто сначала не мог понять, как это так — "без гражданства"? Вы кто же, русские или казахи? Что значит это "ЛБГ"? Но потом привыкли. А это у нас Фомичевы, они ЛБГ. Заходите вечерком выпить, у нас свекровь из соседней деревни приехала.

Потом, когда брат начал работать учителем в школе, это даже начали произносить с уважением. Это "ЛБГ" теперь стало чем-то вроде "профессора" или "образованного человека"».

И, кстати, — градус катастрофичности (по сравнению с «Невой») здесь существенно ниже.

* * *

Ноябрьский номер «Знамени» целиком посвящен Армении — причем не только армянской литературе и культуре как таковым, но и людям, чем бы то ни было связанным с этой страной (вплоть до, например, Осипа Мандельштама с его «Путешествием в Армению» и Марии Петровых, единственная прижизненная книга которой была издана в Ереване). Армянскому пласту смыслов.

В разделе «Страницы поэзии» почти все — переводы с армянского, кроме подборок Анаит Татевосян (переводчицы некоторых из представленных здесь же поэтов), Гургена Баренца (тоже переведшего в этом номере ряд стихов) и молодого русскоязычного поэта из Степанакерта Эммы Огольцовой. Этот раздел, столь же неровный, сколь и интересный — открытие для большинства русских читателей (за исключением читателей «Дружбы народов»), хотя среди его авторов есть и те, кто очень известен в своей культуре, а иногда и не только в ней.

Об одном из самых ярких авторов — о поэте и художнике Аревшате Авакяне — его переводчик Георгий Кубатьян пишет: «Что до рисунков Аревшата, выполненных обычно пером на бумаге либо картоне, то они, как, впрочем, и картины, написанные на холсте маслом, и гравюры, и работы, сделанные в смешанной технике <...> — с первого взгляда напоминают детские. Но только с первого. Слишком изощренные для бесхитростного ребячьего взгляда, слишком изобретательные, витиеватые и частенько загадочные, композиции поэта-художника тяготеют к притче, к иносказанию, той самой тайнопи-

си <...> Точно так же в его стихах обитают и духовные существа, схожие с ангелами-хранителями, да и много кто еще. Вселенную можно, словно музыку, записать нотами». (И тут жалеешь, что в «Знамени» не предусмотрены иллюстрации: их отчаянно не хватает для полноты образа.)

А Артём Арутюнян (представленный здесь единственным стихотворением), на русский, кстати, тоже переводившийся, хотя и слишком давно (в 1979-м) — оказывается, лауреат французской литературной премии имени Рене Шара и, более того, выдвигался в начале девяностых на Нобелевскую премию за книгу «Пожар древней земли» — проза? стихи? Вот, подумаешь, из чего стоило бы перевести хоть небольшой фрагмент — опубликованное тут стихотворение «Ночь в Вашингтоне», признаться, никакого представления о масштабе этого автора не дает.

На «Страницах прозы» — только рассказы. Среди авторов есть и те, чьи тексты уже стали событиями русской словесности. Это — Анаит Григорян (думаю, многие помнят вышедший четыре года назад ее роман «Из глины и песка» — а то и дебютный сборник прозы «Механическая кошка» (2011) — и уж наверняка многие читали второй ее роман — «Diis ignotis» — в прошлом году «Урале») и Каринэ Арутюнова («Пепел красной коровы», «Скажи красный», «Счастливые люди», «Дочери Евы», множество публикаций в журналах за пределами Армении). Их рассказы, как и «Записки ереванского двора» Елены Шуваевой-Петросян, даны в русских оригиналах. Собственно, петербурженку Григорян и уроженку Киева, много лет прожившую в Израиле и вернувшуюся в Киев Арутюнову с Арменией объединяет разве что происхождение и фамильная память — которую обе они сделали достоянием русской литературы и осмыслили с помощью русской культуры и языка. Арутюнова (ее «Другой жанр» — один из самых сильных текстов номера) вообще пишет о киевском детстве, в котором армянского только и было, что ее собственные глаза. Да и такие ли уж они армянские? — разве обитатель московского двора тех же семидесятых не узнает себя и своего, например, в следующем: «В детстве звезды были огромными, а вишни черными и сладкими. Ноги сводило от холодной воды, но выходить не хотелось, — стуча зубами, в очередной раз плюхались и вновь выскакивали, как посиневшие поплавки. Вода была в ушах, в носу, в глазах, но этого никто не замечал. Никто не задавался вопросом, зачем "баба сеяла горох", отчего именно горох, и отчего именно этот момент вызывал столько шума и мокрой радости»? Или — совсем уж точнее и общечеловечнее некуда: «В детстве все было важным. Мир слов не стоял особняком, он был живым и разнообразным, подвижным и вкусным. Он был страшным и потешным...»? Григорян же прямо в первых словах своей «Родной речи» признается: «Родного языка я не знаю». Но зато дальше, дальше!...

«Он помнится набором странных отрывистых звуков. Какие-то бесконечные "ш" и "к". И почему-то вспоминается запах. Пахнет печеными яблоками с корицей».

Да разве это не знание? — пусть не смысловое (впрочем, формы смысла многообразны), но в своем роде более глубокое — предсмысловое, чувственное.

Об Армении как событии культуры (в частности — русской) мы узнаем в этой книжке «Знамени» многое: это — качественно и подробно выстроенный путеводитель по разным областям армянской культуры и особенностям армянского мировосприятия, с отдельной рубрикой для неармянских авторов — о том,

какова у каждого из них «Моя Армения». Кроме поэзии и прозы, нас знакомят с армянской эссеистикой и критикой, с историей армянской литературы и русско-армянских культурных связей; раздел рецензий целиком посвящен книгам, связанным с Арменией; а «Незнакомый журнал» представляет литературно-переводческий журнал «Гехагп», издающийся в Степанакерте. И даже раздел «Выставки» отдан армянскому изобразительному искусству.

Но все-таки открываемая очередной раз русскому читателю Армения предстает прежде всего как событие чувственное (и поэтому, несмотря на множество армянских реалий, вроде, например, грабара — древнеармянского языка или не единожды упоминаемого тандыра, где выпекают хлеб, — общечеловеческое, может быть, и надкультурное) — неотделимое от метафизического, даже тождественное ему. Это здесь гораздо важнее и исторического, и политического.

...А в самом начале было немое
Таяние снегов Арарата.
Ребёнок должен обеими руками
Сжать и заставить треснуть гранат,
Чтобы овладеть
Тайнами этого багрового,
звучащего по зёрнышку языка,
Который, если говорить откровенно,
Ещё не вкусил до конца
Ни один сказитель.

(Эдвард Милитонян.

Перевод Альберта Налбандяна)

В рубрике «Непрошедшее» целых две статьи посвящены Левону Мкртчяну. Скажет ли что-нибудь его имя среднестатистическому русскому читателю? А между тем этому человеку — весьма значительному для армянской культуры и для русско-армянских культурных связей — есть за что быть благодарной и нашей поэзии. В частности, именно Мкртчян стал инициатором и издателем первой — и единственной прижизненной — книги стихов Марии Петровых «Дальнее дерево», вышедшей в Ереване в 1968 году. В статье Каринэ Саакянц приводятся большие фрагменты из переписки, связанной с этой трудной историей.

«Собственно, — пишет Саакянц, — Левона Мкртчяна задуматься о незаурядном поэтическом даре Петровых заставили ее талантливые переводы из армянской поэзии. О том, что у нее есть собственные стихи, знали только в ее ближайшем окружении. И те, кто был знаком с этими стихами, пытались уговорить поэта опубликовать их. Но безуспешно. И потому, когда "бурливый" и "могучий" Левон Мкртчян издал в Ереване книгу ее стихов, друзья Петровых, восприняв это как подвиг, стали говорить: "Если Левон не сделает за свою жизнь больше ничего, одного только "Дальнего дерева" будет достаточно, чтобы имя его навсегда осталось в истории русской поэзии"».

Мкртчян отдал много сил привлечению русских поэтов к переводам армянских стихов и популяризации русской поэзии в Армении. Его стараниями вышли в свет вышли в свет, например, русский трехтомник Туманяна, переводы из армянской средневековой поэзии, в числе которых — «Книга скорбных песнопений» Григора Нарекаци. Он учил гостей из России видеть и чувствовать свою Армению. Однако о нем есть что помнить и помимо наведения русско-

армянских культурных мостов (тем более, что культуры бывших советских республик, среди них и Армении, стоит понимать и в их самоценности, без отсылок к бывшему центру). О том, каким он был и что значил для своих соотечественников — «ученый-филолог, знаток и тонкий ценитель поэзии, талантливый писатель, педагог, воспитавший не одно поколение армянских русистов, просветитель в самом точном смысле этого слова», — рассказывает знавшая Мкртчяна с юности Елена Мовчан.

* * *

Сентябрьский «Новый мир» знакомит читателей с настоящим и недавним (XX век) прошлым украинской литературы — пишушейся, — где бы ни писалась! — в Украине ли, за ее ли пределами, — как по-украински, так и по-русски. Эта последняя, как мы имеем возможность увидеть, тоже с полным правом украинская: по устройству мировосприятия, по основным заботам, тревогам, напряжениям, направлениям внимания. (Так что этот номер журнала — не об упразднении границ, не о несущественности их: он — о более тонком и внимательном их проведении.)

Таков дневник ивано-франковца Владимира Ешкилева «Все воды твои...». Этот текст автор, пишущий главным образом по-украински, написал из некоторых соображений на сильном, сложном, хищно-точном русском языке (догадываюсь — или могу домыслить — из каких именно: чтобы не отождествлять язык и выраженные на нем мысли и чувства с политикой одного известного нам государства, а отношения с этим языком — с позицией в отношении этой политики. Да, это работа разграничения). Таковы рассказы знакомой уже читателю по «армянскому» номеру «Знамени» киевлянки Каринэ Арутюновой — тоже, как и там, — о киевской жизни, киевском детстве, киевской памяти... — и все по-русски.

Русской или украинской словесности принадлежат такие тексты? — Не сомневаюсь: обеим; и наращивают возможности обеих.

Литературе этого рода посвящена в рубрике «Критика» большая статья русскоязычного украинского (*рукраинского*, как сказал бы он сам) писателя, харьковчанина Андрея Краснящих «Русукрлит как он есть». Уж он знает предмет изнутри. А предмет многосложен, многоуровнев, достоин целой, пока не написанной, монографии, а то и не одной: от «киевского неореализма, натурализма и нуара», через «донецкий магический постмодернизм» — до «харьковского метафизического авангарда». И это наверняка еще не все: «жизнь русукрлита не заканчивается на Киеве, Харькове, Донецке. Есть Днепропетровск и по-пелевински загадочная — ее никогда никто не видел — Ульяна Гамаюн <...>, Николаев, Черновцы и много других городов. <...> И знаете еще что? Где-то обязательно сидит и пишет неизвестный гений, и не публикуется, не хочет, никто о нем не знает».

В художественном разделе, занимающем чуть меньше половины номера, — стихи львовянки Марианны Кияновской (мощные, метафизические, работающие, кажется, с самим веществом бытия, — и тут жалеешь о том, что у «Нового мира» нет обыкновения публиковать наряду с переводом оригинал) и уроженки Ивано-Франковска, киевлянки Катерины Бабкиной в переводе Марии Галиной, много лет живущего в эмиграции, в США, Василя Махно — в переводе Ирины

Ермаковой, Василя Голобородько (одного из ведущих авторов украинского андеграунда семидесятых-восьмидесятых — в переводе Аркадия Штыпеля. Перевод украинской прозы (сделанный Еленой Мариничевой) здесь всего один — зато это рассказ одного из самых ярких прозаиков современной Украины Тани Малярчук. Важным событием кажется мне публикация в разделе «Из наследия» переводов стихотворений и рассказов Олега Лышеги — умершего совсем недавно, в декабре 2014-го, поэта и переводчика, одного из создателей украинской неофициальной культуры семидесятых, который, как пишет автор небольшой вводной статьи о нем Инна Булкина, «поразительным образом соединял в своем мире восточную философию, украинские поэтические реалии и американский модерн». В «Семинариуме» Павел Крючков вспоминает умершего в позапрошлом августе «самого известного детского украинского писателя» — Всеволода Нестайко. Раздел рецензий почти весь посвящен украинским книгам. А киевский поэт и переводчик, обозреватель журнала «ШО» Наталья Бельченко на своей «Книжной полке» знакомит нас с новейшими изданиями украинской поэзии.

Даже то немногое из современной украинской литературы, что смогло вписаться в этот номер «Нового мира», дает очень неплохое представление о диапазоне ее возможностей, о глубине ее культурной памяти, о ее витальной силе.

На ощупь ты свет — значит, так тебя и назову.
Прозренья осенние станут тебе роднёю.
Стрела так прозрачно ложится на тетиву.
Лук — в полночь. А в полдень идут страную,
Дорогами, временем, морем — соплодья туч.
Иные из них останутся нам навеки.
Растёт предгрозье. Дар молнии — дивен, жгуч,
Сух, солон — и накрапывает на веки.
Колонны огня живого корнями — в рай.
Тебя одного опознают горние травы.
Целься, мерщай, меняйся, припоминай — и знай:
У пойманных небом звёзд даже свет кровавый.

(Марианна Кияновская.

Перевод Марии Галиной)

Может показаться, что о нынешних трагических обстоятельствах в русско-украинских отношениях (не думать о них, не жить с мыслью о них — невозможно) здесь ничего не говорится. Да, впрямую, в лоб, публицистически — ничего, на самом же деле мысль и тревога об этом присутствуют здесь постоянно.

«Великая война не закончилась, шепчут камни, грехи не искуплены, пророчества не избыты, солдаты не погребены с должными ритуалами, все еще впереди; война вновь проснулась, тянется к своему исполнению, разворачивает фронты и наполняет свежей кровью угасшие, словно тела древних вампиров, смыслы. Все вокруг нас подчиняется закону вечного возвращения, измены все еще гниют в нездешних садах разбегающихся тропок; их запах не даст нам забыть, простить, заболтать, убежать. Рано или поздно мы все равно попадемся: заблудимся в петлях времени, выйдем на темные уровни и упремся во все ту же войну, как в стену...» (Владимир Ешкилев)

Мне ли одной кажется, что это — самый трагический из «национальных» номеров толстых журналов минувшего года? Но и один из самых мощных по

объемам переполняющей его жизни, по упорству этой жизни, по чувству ее ценности.

«Я шепчу слова псалма: Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною...» (Владимир Ешкилев)

* * *

Августовский номер «Звезды» открывается — еще на обложке — двумя стихотворениями-ключами ко всему: Хорезми (XIV век) и Машраба (1657—1711). Так глубоко в прошлое ни один из «национальных» номеров журналов не спускался. Видимо, это — затем, чтобы дать читателю если и не понять, то хоть сколько-нибудь почувствовать узбекское мировосприятие. Обозначить корни этой культуры, которые куда глубже и значительнее, чем и советское наследие, и постсоветская повседневность.

Номер, собранный редакцией в сотрудничестве с Евгением Абдуллаевым (он же, в своем писательском облике — Сухбат Афлатуни, один из главных переводчиков номера) и Элеонорой Шафранской, почти целиком посвящен узбекской словесности, — как той, что написана на узбекском языке и с него переведена, так и русскоязычной, причем не только новейшей, и пишущейся как в самом Узбекистане, так и вдали от него: в России, в Израиле... Так, в разделе рецензий мы видим статьи о книгах, вышедших в 2008, 2006 и даже в 1999 году. Дело же не в новизне — а в устройстве жизни и ее смыслах.

Предмет внимания здесь — не национальная литература как таковая, но литература (литературы?) культурного круга — даже нескольких культурных кругов, которые в Узбекистане накладываются друг на друга, не столько смешиваясь, сколько друг через друга просвечивая, обмениваясь элементами. Речь не только об узбеках, но о разных народах и разных людях, населяющих эту страну и даже всего лишь живших здесь некоторое (зато важное для них и для их культуры) время — как, например, венгерский ученый и путешественник Армин Вамбери, которого тут знали как дервиша Решида-эфенди, или русские поэты и писатели, эвакуированные в Ташкент во время войны (а среди них была сама Анна Ахматова). О восприятии этими людьми и народами друг друга, о том, что возникает при их взаимодействии.

Кстати, полиэтничность, отличавшая Узбекистан исторически совсем недавно, теперь во многом уже в прошлом, и есть немало свидетельств о том, что жизнь из-за этого обеднела — даже на бытовом, чувственном и эмоциональном уровне. «В Узбекистане сожалеют не столько об эмиграции именно бухарских евреев, — пишет историк и этнограф Татьяна Емельяненко в одной из двух своих вошедших в номер статей, посвященной культуре этого народа, — сколько о том, что так много выехало представителей разных национальностей. "Когда были детьми, играли вместе, бегали друг к другу, а там угощали — татары вкусно заваривали кофе, делали сладости, у евреев ели халта палау, у кого что..." — вспоминал житель Шахрисабза, который вырос в квартале с этнически смешанным населением».

Художественная часть номера начинается с переводов из современных узбекских поэтов: Турсуна Али, Абдуллы Арипова, Мухаммада Гаффара, Рауфа Сухбана, Абдуллы Шера, Баходыра Якуба (говорят ли эти имена хоть что-нибудь русскому читателю?) — по одному-два стихотворения от каждого автора.

Далее чередуются стихи и проза, причем на равных с художественными текстами представлен и нон-фикшн — очерк русскоязычного узбекского (или уже просто русского?) поэта и прозаика Вадима Муратханова о ташкентском Тезиковском рынке, одной из главных городских достопримечательностей, сердце русского Ташкента. К ним примыкает отрывок из повести известного (но не у нас!) узбекского прозаика Тагая Мурада (1948—2003) «Люди, идущие в лунном луче», — написанная в 1980 году, она до сих пор не переводилась на русский, как, впрочем, и почти все остальные повести этого автора. Теперь большую ее часть перевел и сопроводил краткой вступительной заметкой Сухбат Афлатуни.

Собственно литературная часть занимает в номере более двух третей объема. Плотнo разместившиеся на остальной территории анализ и рефлексия хоть и в тесноте, но никак не в обиде: они получились весьма интенсивными.

В «Исторических чтениях» — статьи Татьяны Емельяненко: о культуре бухарских евреев (и обо всей сложившейся вокруг них жизни, теперь уже утраченной в связи с массовой эмиграцией) и об узбекских коллекциях Российского этнографического музея, в котором работает автор.

Литературовед Элеонора Шафранская в рубрике «Люди и судьбы» рассказывает об Армине Вамбери (в России его почему-то упорно называют Арминием) — о крупнейшем венгерском ориенталисте, одном из величайших интеллектуалов своего времени, прожившем жизнь, достойную стать сюжетом авантюрного романа (часть этого сюжета разворачивалась на территории нынешнего Узбекистана), а в рубрике «Слова и краски» — о «русском дервише» Александре Николаеве, художнике, жившем в Узбекистане и известном под именем Усто Мумин.

«Философский комментарий» пятигорского историка Александра Пылева открывает русскому читателю Ахмада Дониша — мыслителя второй половины XIX века, жившего в Бухарском эмирате, — его, утверждает автор, «можно считать родоначальником просветительского движения во всей Средней Азии». Заодно Пылев знакомит нас с интеллектуальной жизнью Бухары того времени, когда как раз начиналось присоединение Средней Азии к Российской империи. Петербургский же историк Сергей Абашин в рубрике «Мнения» рассматривает историю Узбекистана последней четверти века, которую большинство наших соотечественников представляет себе смутно, если вообще представляет. При всей распространенной нынче ностальгии по СССР, замечает Абашин, почему-то «не видно желания больше узнать, как сегодня живут и что думают люди, которые еще буквально вчера были согражданами одного государства. Особенно не повезло в этом отношении странам Центральной Азии, о которой в России бытуют очень отрывочные и часто искаженные представления, множество необоснованных и негативных стереотипов».

Впрочем, как мы уже знаем из статьи Емельяненко, идеализировать минувшее при не слишком ясном понимании как его, так и настоящего склонны не только наши соотечественники. «То, что раньше жить было интереснее благодаря присутствию разных народов, что все жили мирно и друг другу не мешали, часто можно услышать сегодня от узбеков, несмотря на характерное для них устойчивое этнокультурное дистанцирование». И даже так: «Любопытно, что многие с присутствием бухарских евреев связывают "лучшие времена", то есть эпоху до начала перестройки: "Помню, недалеко от бабушкиного дома один еврей продавал куриц, петухов, очень дешево продавал, — рассказывал другой

информант. — И узбеки, когда сегодня покупают что-нибудь на базаре, то вспоминают, как все было дешево при евреях". Хотя совершенно очевидно, что рост цен никак не связан с отъездом евреев, а лишь по времени совпал с ним».

(Примечательно, что, например, в тех выпусках журналов, что посвящены литературам стран Балтии, мы ничего сопоставимого не прочитаем. Почему бы?)

И вот что еще бросается в глаза: переводов с узбекского на целый номер — всего четыре.

Это (не считая стихотворений-эпиграфов) — начальная поэтическая «прослойка» художественного блока; рассказы Назара Эшонкула и Мухаммада Шарифа (оба — в переводе Саодат Камиловой) и уже упомянутый отрывок из Тагая Мурада. Все остальные образцы литературы Узбекистана представлены здесь в их русских оригиналах: русское слово главенствует и количественно, и качественно.

Да, собственно узбекского материала здесь, пожалуй, не хватает. Но чего не хватает еще более, так это основательного разговора — например, большой аналитической статьи — об узбекской русскоязычной литературе (или даже так: об узбекской русской литературе) как одном из самых ярких явлений нашей словесности последних десятилетий (имею в виду прежде всего ферганскую и ташкентскую поэтические школы и их представителей, разъехавшихся ныне по разным странам). На страницах августовской «Звезды» это явление представлено куда более сдержанно и фрагментарно, чем того требовала бы его значимость. Мы встретим здесь небольшой рассказ Санджара Янышева, упомянутое уже эссе Вадима Муратханова, маленькие рецензии на сборник стихотворений и эссеистики Шамшада Абдуллаева «Приближение окраин» и давний уже (2006) «Ташкентский роман» Сухбата Афлатуни. Сам Афлатуни предпочел ограничиться (важной, но скромной) ролью переводчика и комментатора.

* * *

Увы, читатель «молдавского», декабрьского номера «Москвы» обречен остаться в неведении о том, что происходит в молдавской литературе. Там речь вообще не об этом.

На весь номер — ни единого перевода с молдавского, хотя почти все его авторы родились и живут в Молдове. Он целиком посвящен русской литературе этой страны. Дело даже не в том, что все опубликованные здесь авторы русскоязычны, — мы помним, что похожая ситуация была и в «казахском» номере «Невы», где, однако, о казахской жизни говорилось много важного. Дело в том, что местная молдавская жизнь занимает их минимально. Почти во всех текстах — исключения единичны — ей отведена роль не более чем декораций.

Рассказ Олеси Рудягиной — из жизни кишинёвских русских в последнее советское десятилетие, о сильной, многолетней и безнадежной любви — история мучительная (и очень неровно прописанная), но такая, которая могла бы случиться где угодно — от Бреста до Владивостока. Молдавского в ней только и есть, что указание на место действия да единственный речевой оборот из местного обихода: «ла ботул калулуй» — «у морды лошади» — аналог русского «на посошок». И все. Оба рассказа Александры Юнко — тоже о кишинёвских русских, с минимальными молдавскими деталями (поднимать упавшего на улице главного героя одного из рассказов подбежал мальчик, что-то говоривший

по-молдавски). Героиня первого рассказа, выучившаяся в Кишинёве на экономиста, уехала в Италию работать уборщицей. Герой второго, бедный пенсионер, до сих пор не может привыкнуть к тому, что Липецк — это в другом государстве. В рассказе Татьяны Орловой-Волошиной — лишь отдельные молдавские детали и словечки («— Вэй! Деадеа-Вадеа, ты в помадеэ! — дразнится из переулка, коверкая акцентом слова, сопливый ангел в засаленных спортивных штанах»; «Ненавижу праздники на работе. Что за люди у нас! Ненавидят друг друга, но есть повод, нет повода — «маса-касамаре», «щи ла мулцьань» или как там у них?»). Вообще же молдавская жизнь заглядывает сюда только в виде смутных воспоминаний — почти сновидений — главных героев о детстве, в котором бабушка пела им песни на молдавском языке (которого главный герой тогда еще как следует не понимал). Отрывок из романа Сергея Сулина — гротескный текст о посещении молдаванином (жителем «Вишенок», должно быть, зазеркального Кишинева) фантастической Москвы начала 90-х. Но молдавского там только и есть, что происхождение гостя да пара фраз, которые, к его изумлению, говорит ему, пьяному, — уже в порядке все более разнудывающейся фантазмагии — выставляющий его из Москвы милиционер. В остальном же (поданное с прямолинейной карикатурностью) московское безумие, после которого ничто, даже езда на метро через города и страны вспять по течению времени, не кажется достаточно безумным.

Впервые молдавская жизнь обнаруживается на этих страницах лишь к середине номера — в рассказе Михаила Поторака (он — единственный из представленных здесь авторов, пишущий не только по-русски, но и по-румунски. Здесь опубликованы его русские тексты). Она является в одном из самых неожиданных своих обликов: в виде слов, которыми молдаване разговаривают с животными.

«<...> откуда взялись все эти странные слова, которыми люди разговаривают с животными? Ладно там "кыс-кыс" или "цыпа-цыпа", тут все понятно. Но откуда, например, взялось лошадиное слово "хэйс"? Почему у нас в Молдавии свиней зовут "гыж-гыж!", почему, отгоняя корову, говорят "кути!", гусей гонят криком "хыле!", собаку — "цыба!", а барана — "хурду!"? Причем только барана, не овцу. Овцу как-то по-другому, я забыл. "Хурду", надо же... По-молдавски эти слова ничего не значат и ни для чего больше не используются. Ну хорошо, допустим, тпруканье — это звукоподражание. Это похоже слегка на то, как лошадь фыркает или ржет. Но никогда-никогда, ни от одной лошади не слышал я ничего похожего на "хэйс" или "ча"! И вряд ли я когда-нибудь пойму, отчего баран, услышав слово "хурду", отступает, никого не забодав.

Откуда, из какого странного рая пришло это в наш язык? Именно что из рая, откуда бы еще?»

Пожалуй, Михаил Поторак среди здешних авторов наиболее привязан к молдавской чувственной, языковой, бытовой реальности, менее всех судит ее, более всех внимателен к ней и благодарен ей. «По всей Молдавии винный дух стоит, — пишет он в рассказе "Пьяный сентябрь", — и у детей усы от муста — едва забродившего виноградного сока. Он сладкий такой и совсем не хмельной, только слегка язык пощипывает. Вот когда начинает пощипывать — значит, пора отжимать и сливать в бочки. У настоящих хозяев и отжимки в дело идут. Из них гонят совершенно зверский самогонище».

Сергею Диголу (кстати, «автору исследований по истории Молдавии

XX века, опубликованных в научных журналах Молдавии, России и Румынии») принадлежит рассказ — наконец-то! — из современной молдавской жизни (о том, как эту жизнь и ее людей разрушил дикий капитализм). Тут в первый раз на весь номер (он же последний — больше художественных текстов в декабрьской «Москве» нет) у главных героев молдавские имена: Георге и Виорика. Бизнесмена-хищника Георге в конце рассказа убивают бандиты, а та, с кем он встретил свое последнее утро, — проститутка. («Пятьдесят баксов за любовь — форменное свинство. Правда, Виорика не любила — она работала. Может быть, в Лиссабоне, куда по какой-то тайной причине стремились сельские девицы, она получала бы больше. Может быть. Но Виорика в Португалию и вообще за пределы Молдавии никогда не ездила, а приезжавших из дальних краев на родину подруг спрашивать в подробностях о расценках заграничной сладкой жизни как-то не решалась».)

К авторам, связанным с Молдавией, составители номера относят и Павла Кренева. Кренив родился и живет в России, но повесть его — о войне в Приднестровье («вооруженном конфликте» России и Молдавии, то есть России и Запада, в котором Россия, конечно, права, а ее противники — разумеется, нет), о трудной работе и горькой судьбе истребителя снайперов (о да, мы многое узнаем об этом — а также о том, сколь различны взгляды на жизнь у «наших» снайперов и у их противников) и о чудовищном коварстве врагов. Художественную часть повествования сопровождает историософская, объясняющая, кто на самом деле во всем виноват: «Мир тогда разрушался по сценарию, составленному в секретных масонских лабораториях "заклятых друзей" России — США и некоторых западноевропейских стран. Главный удар наносился по СССР. Военный, экономический потенциал этой страны необходимо было сломать с одной только целью: чтобы создать управляемый со стороны Запада однополярный мир во главе с США. Для этого необходимо было разорвать по кускам СССР, растащить его по углам, создать в нем и среди его союзников обстановку неуправляемости, бардака и хаоса. Опытный рыбак знает: в грязной, беспросветной воде рыбу ловить легче, чем в прозрачной. Такая обстановка и создавалась». «Приднестровье ждало помощи от Москвы, но на московском троне сидел человек, посаженный американцами, и вершил дела не в пользу России и ее интересов, а в угоду своим американским хозяевам».

Раздел же «Публицистика» посвящен Приднестровью, точнее, взаимодействию России и Приднестровья — «неповторимого уголка русского мира», как выразился один из авторов этого раздела, Александр Шевченко. «Помнит и Россия об этой исторической частице своей земли, оставшейся в результате драматических событий распада СССР за пределами нынешнего российского государства и не пожелавшей быть в составе Молдовы в связи с усилившимися в ней настроениями в пользу слияния с Румынией». Его коллега по номеру Павел Кренив, в свою очередь, выразился следующим образом: «Приднестровью, этому вечнозеленому, солнечно-виноградному краю, планировалась роль пушистой дрессированной собачки, которая должна была сидеть в молдавской конуре и, что называется, не скулить и не тявкать». И это уже не публицистика. Это, прости Господи, художественная литература.

* * *

Из июльского «Нашего современника» о новейшей белорусской литературе (по крайней мере — об образе ее в головах составителей номера) мы узнаем тоже немного. Хотя, правду сказать, все же больше, чем совсем ничего.

Здесь опубликованы произведения лауреатов Конкурса молодых литераторов России и Беларуси «Мост дружбы», занимающего, как пишут составители, «особое место» «среди интеграционных проектов, реализуемых под эгидой Постоянного Комитета Союзного государства» и имеющего целью «укрепление социально-культурного взаимодействия в рамках Союзного государства». Для материалов конкурса выделены две сквозные рубрики: «Белая Русь» и «Мост дружбы». Тексты русских и белорусских авторов идут подряд, как части одного континуума. Границы (которые, по идее, — условие диалога и взаимного внимания) между явлениями русской и белорусской культуры здесь не только не проводятся, но и задача такая не ставится. Задача, напротив, — «интеграция», сращивание.

Такой границы нет не только для составителей, но и для самих авторов. Отношения и с советским опытом, и с Россией здесь наименее конфликтны — собственно, они не конфликтны вообще. Они не проблематичны. Проблематичны скорее отношения с современностью, но об этом — чуть ниже.

Так, всю жизнь живущие в Беларуси Анатолий Аврутин, Валентина Поликанина, Татьяна Дашкевич, Елена Крикливец, Андрей Скоринкин пишут стихи не просто по-русски, но исключительно о русском и о России — как о своем. Аврутин: «По русскому полю, по русскому полю / Бродила гадалка, вещая недолго. / Где русская выюга, там русская выюга. / Там боль и беда подпирают друг друга...» Вся подборка называется «Где русская кровь проливалась...». Подборка Поликановой озаглавлена повторяющейся строкой из первого стихотворения — «Льют на Руси колокола». «А на Руси прекрасней нет зари... / На Волге лодок тихое скольженье». Далее — о Соловецком монастыре; затем — «Молитва о России», частью которой автор чувствует себя: «Упасинас, Господь, от проклятий грядущего дня...». В следующем стихотворении: «Это старый русский Север, / Самый дальний из родных».

Аналитических статей о новейших тенденциях в белорусской литературе, книгоиздании, культуре, о современном белорусском обществе здесь попросту нет. Нет и осмысления постсоветского опыта — за исключением отдельных, вполне сдержанных удивлений тому, что как же это так получилось — была большая общая страна, а теперь ее нет. Конец СССР для авторов этого культурного круга — явно травма, но совершенно не отрефлектированная (хотя бы и так грубо, как в журнале «Москва»), даже не выговоренная. (Тамара Краснова-Гусаченко: «Стою под небом я, оглушена. / Понять пытаюсь, и не понимаю. Такой была огромною страна! Где большаки мои теперь, не знаю...») Нет, похоже, и чувства исторических перспектив — есть чувство (большею частью меланхолическое, без энергичного протеста) скорее конца, чем начала: «Здесь снова хоронят эпоху, / и снова вороны снуют...» — пишет Крикливец в стихотворении с эпиграфом из Ахматовой («Когда погребают эпоху, / Надгробный псалом не звучит...»):

И ты, безусловно, намерен
исполнить отцовский завет.
И прошлое загнанным зверем
рванётся из чаши на свет,

в убийственной жажде спасенья
помчится быстрее и быстрее
туда, где в угольях осенних
плывут голоса егерей.

Чувство катастрофы выговаривают прямым текстом только двое: Андрей Скоринкин (первое же стихотворение в его подборке называется «Апокаlypsis»: «Повсюду кровь и слёзы... В наши дни / Упразднены Священные законы... / Героев нет, предатели одни — Лукавые, как змей, хамелеоны...») и — по совсем свежим тогда еще следам в своих ранних стихах — Татьяна Дашкевич (рожденная и живущая в Беларуси, своим отечеством она называет Россию): «Я ничего совсем не знаю, / Я никого не узнаю, / Я дым Отечества вдыхаю / В расстрелянную грудь мою» (1991); «Стоит Россия чёрная, немая, / Стоит, к лицу ладони прижимая: / На мёртвом мёртвый — некуда ступить! <...> Языческие огнища пылают, / Отравный дым Отчизну выстилает, / Вновь наступает долгая зима» (1993).

Некоторая концепция происходящего — вкуче с представлением о перспективах — есть только у Скоринкина:

В сердцах гремит духовная война,
За горний трон дерётся сатана...
Грядёт конец, а с ним — начало света...

Померкнут звёзды, солнце и луна...
Но за зимой ворвётся в мир весна
И расцветет спасенная планета!

Тревога о будущем для здешних молодых авторов совсем не характерна, но у одного из них мы ее все-таки обнаружим: в рассказе «Европа» Андрея Диченко (1988 года рождения) — о необычных детях, один из которых видит (зловещее) будущее. Европа — источник опасности. Тревожащее чужое, не укладывающееся в рамки привычного восприятия.

Переводов с белорусского на весь журнал целых четыре: три поэтических и один прозаический. Прозаический, пожалуй, — самый интересный: рассказ Алеся Бадака «Идеальный читатель» — несколько рассудочное повествование о совсем не рассудочных вещах: о взаимоотношениях человека и искусства. Причем к искусству на равных правах причисляются не только литература и музыка, но и кулинария — как действие, тонко настроенное на его предполагаемое восприятие. Белорусского как такового в рассказе не очень много, кроме разве места действия, цитаты из Янки Купалы да признания героя, он же и автор: «<...> я пишу на языке, на котором поэзию и прозу читает не слишком много людей».

Переведенные стихи — Михаила Позднякова, Михася Башлакова и Геннадия Пашкова — интересны значительно менее. Все они глубоко вторичны, и тема во всех без исключения — малая родина авторов, очарование ее чувственным обликом, любовь к ней и мягкая меланхолическая тоска по ней («Те ягоды

пахнут простором и лесом. / Далёким моим босоногим Полесьем...» — Башлаков, «Милый край, где растёт ежевика, / Хвойный воздух струится, как дым, / Никогда, никогда не привыкну / Я к дарам и красотам твоим.» — Пашков) да разве еще экзистенциальная печаль («И дни мои летят / Так быстро — не заметить...» — Башлаков). Будто, право, по-белорусски больше и сказать не о чем. Авторам — за шестьдесят. Ни один молодой поэт, пишущий по-белорусски, не представлен.

* * *

«Грузинский», августовский номер «Дружбы народов» — среди всех «национальных» выпусков «толстых» журналов, пожалуй, особенный. Потому что он весь — о любви. Нет, он и об историческом самоопределении тоже, и о катастрофе, и о проведении границ — от этих тем постимперским литературам, включая и нашу, похоже, никуда не деться. Но в первую очередь, поверх всего этого, посредством всего этого — о любви.

Открывается номер републикацией лучших, по мнению редакции, из произведений грузинской поэзии, опубликованных в журнале в прежние годы. Это — классики: Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, вполне близкий по крупности к классикам Отар Чиладзе, гораздо менее известные русскому читателю Анна Каландадзе и Шота Нишнианидзе. И все это — стихи и XX век. Самый ранний текст здесь написан в 1915 году — ровно столетие назад.

О временах более ранних речь не заходит. Составителям важно говорить о том, что еще не стало в полной мере историей и остается живой проблемой.

В художественной части номера — современная словесность и история, которая делается на наших глазах (то, что еще не стало объектом ностальгии, но уже становится предметом рефлексии).

Роман «Очкая бомба» Гурама Одишария, грузинского писателя, родившегося (в 1951-м — следовательно, целиком сформировавшегося в советское время), выросшего и основную часть жизни прошедшего в Абхазии, — о грузино-абхазской войне как части катастрофы советского мира. (Да, то была *творящая катастрофа* — создающая новые миры, новые человеческие общности с их коллективным и личным самосознанием, — что не уменьшает ее катастрофичности.) О живых кровавых клочьях, на которые разлетался вчерашний советский мир.

Тут вообще много текстов о беде, о смерти, о распаде привычных связей. Кровоточащая литература.

О войне — оба рассказа Беки Курхули; рассказ Бесо Соломонашвили — рефлексия (помимо личных обстоятельств героев, точнее, с их помощью) грузинской истории XX века — катастрофичной начиная уже по меньшей мере с 1920-х) и отношений с Россией. Рассказ Нугзара Шатаидзе — снова о катастрофе, разломе, поражении и утрате: события происходят весной 1921 года, когда остатки грузинской гвардии отправились в Батуми, а оттуда в эмиграцию.

Но есть и еще одна, не менее важная линия. Здесь представлен поэт Звиад Ратиани, родившийся в 1971-м — из тех, кто начал работать в литературе уже в постсоветскую эпоху (и из оставшихся, таким образом, за пределами русского литературного сознания — у нас он до сих пор не переводился, а вот на многие европейские языки — да) с ориентацией на европейские образцы, из тех, кто

способствовал и способствует европеизации грузинской литературы — переводил на грузинский Рильке, Элиота, Паунда, Одена, Целана... Поэма «Джакомо Понти» Дато Маградзе (родившегося в 1962-м, бывшего в 90-х министром культуры Грузии, автора слов ее государственного гимна) — вписывание себя в систему европейских координат, прочитывание себя с помощью европейских культурных кодов (как пишет философ и литературовед Заза Шатиришвили, «<...> Фабула произведения, одновременно и символическая, и реалистическая, предельно проста — идет судебный процесс самого Джакомо Понти, а весь текст — апология лирического героя (апология в древнегреческом смысле: «оправдательное слово»). Как известно, этот кафкианский мотив отразился и в лирической поэзии XX века: можно вспомнить такие примеры, как лирические тяжбы Леона Фелипе и Анны Ахматовой»)

Таким образом, в грузинской литературе видны как минимум две ведущие темы: изживание (по крайней мере — проработка) травмы, которой стала практически вся история XX века, и вживание, вработывание в Европу.

В номере подробно представлен особый пласт смыслов: русских мечтаний о Грузии, русских образов ее, неотъемлемости Грузии от русского чувства мира, вполне возможно — русской тоски по этой стране, бывшей (или мнившейся?) в советские годы ближе и доступнее. Это — рубрика «Сны о Грузии». Здесь мы видим яркие образцы того, что Наталия Миминошвили назвала «грузинским текстом русской литературы», — текста, не прекратившего возникать и теперь, после распада бывшего сложного единства на разные, не менее сложные государства.

Грузия рассказана и пережита здесь как один из важнейших источников русского самосознания, как личный, эмоциональный, чувственный, поэтический — и, опять же, очень русский опыт (Борис Мессерер, «Дружбу нельзя предать»). Опыт, необходимым условием которого была инаковость Грузии — адресованная инаковость, «свое другое». Грузия — это взволнованность и любовь — бери наугад цитаты из любого текста — не ошибешься. Михаил Синельников: «Грузины — мой любимый народ, и, мне кажется, я знаю их настолько, насколько можно знать, не будучи грузином». Олеся Николаева: «Я сажусь в машину и сразу включаю грузинские песни. И сразу оживает передо мной моя жизнь, быть может, лучшая и блаженнейшая часть которой была связана со страной, которую я называю "второй родиной" и от которой получила столько света и столько поэзии, что душа изнемогает от этого избытка.

Подкрепите меня вином,
освежите меня яблоками,
ибо я изнемогаю от любви!»

О каком еще народе бывшей империи русский может так сказать?

Отношение грузин к России и русским — предсказуемым образом сложнее. Правда, о нем — особенно о сегодняшнем — из этого номера журнала мы узнаем немного.

Грузинские слова о России звучат в статье грузинского классика Григола Робакидзе «Сталин как дух Аримана», — но она написана в 1935 году (в германской эмиграции, на немецком языке, с которого и переведена). Тему отношений Грузии и нашего отечества отчасти затрагивает лишь один текст из двух, составивших рубрику «Публицистика» — и написанный, к слову сказать,

на качественном русском языке. Это — «Грузия на распутье» Георгия Лорткипанидзе, двуязычного автора (кроме грузинской прозы выпустившего и русский роман «Станция Мортуис»). И мы видим, что отношения эти проблематичны.

«Писать в российской прессе о современной Грузии — для грузина задача неблагодарная. Любой автор, который рискнет затронуть ряд болезненных тем (от порушенной территориальной целостности до причин войны 2008 года), вряд ли избежит обвинений в субъективности и попадет в итоге — с высокой долей вероятности — под словесный обстрел с противоположных берегов... Но с другой стороны, несмотря на ставшие, к сожалению, привычными драматизм и почти полный застой в грузино-российских отношениях, задача эта, как все полузапретное, чрезвычайно интересная. А быть может, не только интересная, но еще и полезная, хотя порой очень непросто различить невидимую грань между пасквильанством на свою страну и той дозой нелицеприятной критики, что необходима для ее же здоровья».

Другой текст той же рубрики — «На пути к Европе» Георгия Нижарадзе — посвящен отношениям Грузии и Европы — как бы «поверх» опыта исторической совместности с русскими.

Существуют ли — существовали ли когда-либо — грузинские «Сны о России»?

В том же, что пишут здесь о Грузии люди русской культуры, смыслов отталкивания и преодоления, кажется, вообще нет. Трудности сближения (и усилие их преодоления) есть, но нет ни тени враждебности. Есть боль за Грузию («Зеркалка» Натальи Соколовской — дневниковые записи эпохи разлома империи на ее кровоточащие составные части), но нет ни отторжения, ни осуждения.

«Ни с одной чужой речью не общалась я так долго и близко, как с грузинской, — пишет цитируемая Мессерером Белла Ахмадулина о своей переводческой — даже не работе, а жизни. — Она вплотную обступала меня говором и пеньем, искушая неловкую славянскую гортань трудиться до кровавых ссадин, чтобы воспроизвести стычку и несогласие согласных звуков и потом отдохнуть в приволье долгого "И". Как мучилась я из-за этой не данной мне музыки — мне не было спасенья в замкнутости, потому что вода, лившаяся из-под крана, внятно обращалась ко мне по-грузински».

Есть — благодарность: всему в Грузии, Грузии в целом, самому ее чувственному, пластическому облику: «Открыт, распахнут и грузинский пейзаж, — говорит Вадим Муратханов. — Многоярусный Тбилиси напоминает слоеный пирог, румяный, с надрезами в поджаристой корке. Оказавшись на краю надреза, видишь далеко вокруг. Множество складок, заселенных площадок и уступов словно увеличивают площадь маленькой уютной страны». Есть неизменное чувство связи — даже через разрывы, — притом взаимной связи. «По совести я плохо верю в самую будущность переводческого ремесла, — признается Михаил Синельников. Но верю в единение поэтов, в мистическую связь Лермонтова с Бараташвили, в братство Тициана и Бориса. Несмотря на тягостные события, я не в силах согласиться с разрывом нашего духовного единения. Благородными примерами которого дорожу... Был в Тбилиси старый профессор, филолог Акакий Гацерелия. Раз в месяц на протяжении долгих лет он отправлялся на городской почтамт и посылал продуктовую посылку с дарами земли грузинской старой дочери В.В.Розанова, жившей на пенсию в 37 рублей

26 копеек в городе Загорске (ныне вновь Сергиев Посад). Русские давно и позорно о ней забыли, но грузинская интеллигенция еще помнила, кто такой Розанов (между прочим, ничего о Грузии не писавший)». И даже — отождествление: «Все мы немного грузины». Так пишет Вадим Муратханов — русский узбек, родившийся и выросший в Киргизии. О тех же (русских!) чувствах к Грузии говорит и Бахытжан Канапьянов — казах, человек (и) русской культуры (тоже), цитирующий «русского поэта и писателя, сына грузина и армянки, <...> батона Булата». Все это — люди многокультурья, которое окаянная империя, однако, сделала возможным.

Людьми русской культуры Грузия прочитывается как опыт расширения горизонтов, всечеловечности, вообще — полноты человечности, ее раскрытия и осуществления.

«Здесь, в Грузии, — пишет Муратханов, — задумываешься о том, что человек потенциально шире своей географии. В нем заложено больше, чем вынуждает проявлять место его проживания. Новое солнце высвечивает новые грани характера и темперамента. Кто-то из моих друзей неожиданно для себя начинает блистать остроумием и обаять окружающих женщин. Другой высказывает тебе в глаза обиду, которая, случись в обжитом, привычном пространстве, наверняка осталась бы, не облеченная в слова, тлеть в глубине сердца. Через несколько дней, проведенных здесь, все мы уже немного грузины».

Тут уже хочется воскликнуть вместе с Михаилом Синельниковым: «И неужели все это уйдет бесследно для поколений, вступивших в небывало черствую эпоху?»

Честно сказать, у меня нет надежно утешающего ответа.

Разве что — воскликнуть вместе с Анной Бердичевской, автором бережного, даже ласкового и грустного текста о тбилисском доме-музее Тициана Табидзе: «Дай Бог, чтоб не оборвалась нить, связь всего, для чего стоит жить. Нет ничего прочнее нити основы. Но если она все-таки оборвется — мир расплзется и прекратится».

Национальные и общечеловеческие ценности в современном изобразительном искусстве Узбекистана

Профессиональное изобразительное искусство Узбекистана во всех его видах и жанрах сформировалось главным образом в XX веке и является продуктом евразийского мышления. Традиционная художественная культура Узбекистана, насчитывающая несколько тысячелетий в своем развитии, к началу XX века несла в себе отражение сложного исторического, геополитического, этнокультурного, религиозного, социально-экономического своеобразия региона. Эта динамика цивилизационных сдвигов, великие социальные потрясения начала XX века создали фон для зарождения европейских форм изобразительного искусства, и это не было простым механическим переносом европейского или русского искусства на национальную почву. С самых первых произведений начала XX века у художников Узбекистана можно видеть симбиоз творческих поисков европейского искусства и «генетического кода» восточного художественного мировоззрения.

В современном изобразительном искусстве Узбекистана еще крепко держит свои позиции реалистическое направление, представленное творчеством Сагдуллы Абдуллаева, Акмаля Икрамджанова, Сабира Рахметова, Масута Фаткулина, Мухаммада Нуриддинова, Хакима Мирзаахмедова, Валерия Енина, Махаммадиера Ташмурадова, Алишера Аликулова, Азамата Атабаева, Виктории Трошиной и других. Декоративное направление развивается в творчестве Алишера Мирзаева, Жоллыбая Изентаева, Искры Шин, Имяра Мансурова, Рахмона Шадыева, Людмилы Садыковой, Яниса Салпинкиди, Рустама Худайбергенова, Содика Рахманова.

В то же время нельзя не констатировать, что ассоциативно-метафорическое художественное мышление, нося нарастающий характер, выявляет свой внутренний потенциал в творчестве самых различных художников, в каждом конкретном случае преломляясь через их индивидуальное видение мира, характер живописно-пластических поисков. Пример тому — творчество Джавлона Умарбекова, Бахадры Джалалова, Аслиддина Исаева, Гайрата Байматова и других.

Во второй половине 1980-х и в 2000-е годы в искусстве Узбекистана появились и развиваются новые направления постмодернистского толка: поп-арт, инсталляции, перфомансы, пространственные проекты, выражающие тот или иной концепт. Например, в образной структуре работ Джамола Усманова, Файзуллы Ахмадалиева, Санджара Джаббарова, Мухаммада Фозили, Марии Сошиной ощущается доминирование не сарказма, не игра с традициями, а подлинная духовная традиционность, свойственная культуре Востока, выраженная посредством концептуализма. Здесь можно упомянуть Александра Николаева, Вячеслава Усеинова, Шухрата Абдумаликова, Диера Разикова, Нигору Шарафходжаеву, Бабура Мухамедова, которые также пытаются освоить новые технологии, новые эстетические приемы современного западного искусства. Их творческие поиски уходят за пределы национальной поэтики, расширяя горизонты художественного мироощущения.

Сфера изобразительного искусства сосредоточивается не только в Ташкенте, но и благодаря творческим отделениям и учебным заведениям Академии художеств Узбекистана практически во всех областных центрах страны. Крупными культурными центрами остаются Самарканд, Бухара, Хорезм, Каракалпакстан. Так, например, ярким своеобразием отличается творчество бухарских художников Зелима Саиджанова, Музаффера Абдуллаева, Вафо Барноева, Эркина Джураева; самаркандских художников Аслиддина Исаева, Туркмана Эсанова, Нуриддина Каланова; хорезмского художника Отахона Аллабергенова; каракалпакских художников Жолдасбека Куттымуратова, Жоллыбая Изентаева, Сарсенбая Байбасинова, Базарбая Серекеева, Дарибая Таджимуратова.

В последние два десятилетия бурно развивается монументальная скульптура Узбекистана — установлены монументы Амиру Темуру, Мирзо Улугбеку, Алишеру Навои, Камалетдину Бехзоду, Бабуру, Алпомышу, Джалалитдину Мангуберды, Аль-Фаргони, Фитрату, Чулпону, Абдулле Кадыри, Гафуру Гуляму, Зульфие и другим выдающимся личностям узбекской культуры, внесшим большой вклад в ее развитие.

На современном этапе активно развивается станковая скульптура, например, в творчестве Дамира Рузыбаева, Азамата Хатамова, Тулягана Таджиходжаева, Жолдасбека Куттымуратова, Мухтара Аблакулова, Саидолима Шарипова. В их творчестве станковая скульптура начинает приобретать определенную живописность, пластичность. Эта пластика, созвучная передаче определенного состояния, психологического настроения, внутренних переживаний и едва осязаемых движений души.

Развивается и авангардное направление в узбекской скульптуре в творчестве Марины Бородиной, Роберта Авакяна, Баята Мухтарова, Василия Попова, Альберта Овсепяна, Абдугаффора Исанолиева, Курбана Норхурозова, Улаша Уракова. Нельзя не отметить поиск новых выразительных средств, обращение к нетрадиционным материалам, предельную условность в передаче образного содержания.

Другим важным и интересным направлением в развитии узбекской пластики является современный фольклор, для которого характерны интерпретация традиционных сюжетов устного народного творчества, мягкий юмор в образном звучании. Это направление развивают бухарские художники Курбан Норхурозов, Улаш Ураков, Бахром Гулов, ташкентский художник Гульзор Султанова. Одним из своеобразных скульпторов Узбекистана является каракалпакский художник Жолдасбек Куттымуратов, художник многообразный и интересный, корнями своего творчества уходящий в народное искусство.

В станковых работах узбекских графиков также нельзя не отметить огромное тематическое, жанровое, стилистическое многообразие. К сожалению, в последние два десятилетия почти исчезли графические техники: литография, линогравюра, офорт, ксилография. Отчасти это связано с тем, что многие графики стали заниматься живописью, а также тем, что на современном этапе стало возможным проникновение разных видов изобразительного искусства друг в друга. Так, например, некоторые живописцы продолжают свои творческие поиски в скульптуре, актуальном искусстве; графики активно занялись живописью; художники театра и кино «вторгаются» в сферу дизайна. И в этом тоже особенность современного этапа развития изобразительного искусства.

За годы независимости Узбекистана активные позиции в современной художественной культуре стал занимать фотоарт. Создание секции художественной фотографии в структуре Творческого объединения художников Узбекистана, систематическое проведение международных фотобиеннале в Ташкенте, открытие Ташкентского Дома Фотографии, знакомство с современным фотоискусством различных зарубежных стран придало импульсы творческим поискам современных узбекских фотохудожников Виктора Ана, Абдугани Джумаева, Владимира Коврейна, Владимира Жирнова, Виктора Вяткина, Виктории Боц, Константина Минайченко, Владимира Соколова,

Александра Шепелина. Узбекский фото-арт включает в себя всё: серии и панно, крупномасштабные изображения и средний формат, комбинации снимков и коллажи, технологические процессы и так называемый «брак», тончайшие нюансы цвета, рекламные приемы.

В системе современной художественной культуры Узбекистана важное место занимает и декоративно-прикладное искусство, которое вбирает в себя традиционные художественные ремесла и виды нетрадиционного декоративно-прикладного искусства, в которых возросла роль авторского начала: керамика, фарфор, ювелирное искусство, батик, гобелен. Если одни художники черпают вдохновение в традиционном искусстве, обыгрывая его мотивы, сюжеты, символику (Римма Газалиева, Назира Кузиева, Шахноз Муминова, Рамазан Мухамеджанов, Гульзор Султанова и др.), то другие смело экспериментируют, осваивая направления современного европейского искусства (Ануш Авакян, Анель Улумбекова, Улугбек Холмурадов, Эдуард Гостев, Вячеслав Усеинов, Наталья Доманцевич, Милена Тюрина).

Существует преемственность традиций в современном искусстве поколений молодых художников Узбекистана. Созданная в годы Независимости многоступенчатая система художественного образования в структуре Академии художеств Узбекистана, ежегодно проводимые в стране различные фестивали и конкурсы молодежного творчества «Навкирон Узбекистон (Молодой Узбекистан)», «Келажак овози (Голос будущего)», «Янги авлод (Новое поколение)» способствуют выявлению талантливой молодежи. Не без гордости можно сказать, что творческая молодежь Узбекистана, помимо имеющихся прекрасных выставочных площадок, в 2008 году по инициативе главы государства обрела Дворец творчества молодежи, ставший уникальным центром молодежной культуры, не имеющим аналогов не только в регионе, но и на постсоветском пространстве. Все это способствует формированию новой генерации художников Узбекистана.

В целом, хотелось бы отметить, что творчество современных художников Узбекистана является своего рода перекрестком не только разных поколений, стилистических направлений, тем, творческих индивидуальностей, но и скрещением духовных поисков Востока и Запада, цивилизации и культуры, глобализации и поисков национальной самоидентификации, центром внимания которых остается, как и во все времена, Человек.

Камола АКИЛОВА, доктор искусствоведения

Подготовка репродукций и текста — Юрий ПОДПОРЕНКО



Собир Рахметов

ОТЧИЙ ДОМ. 2011.
Холст, масло



Алишер Мирзаев

НЕВЕСТА. 2000.
Холст, масло



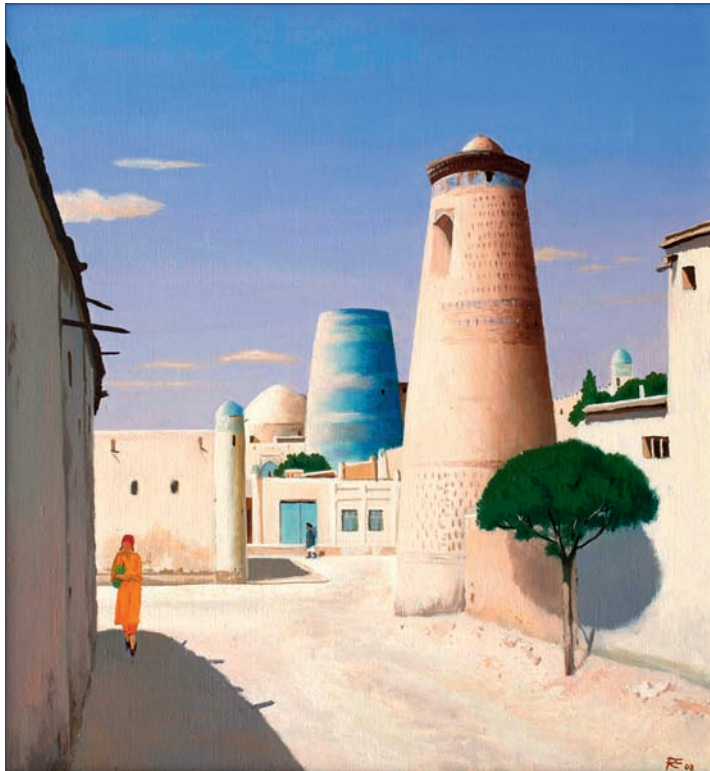
Акмаль Икрамжанов

МЫ ИЗ 19 ВЕКА. ПРАВАЯ ЧАСТЬ ДИПТИХА
«ЧАСТИЦЫ ВЕКОВ». 2009.
Холст, масло



Римма Гагloeва

РАННЕЙ ВЕСНОЙ. 2000.
Холст, масло



Рустам
Худайбергенов

ИЧАНКАЛА В ЧАШГОХЕ. 2008.
Холст, масло



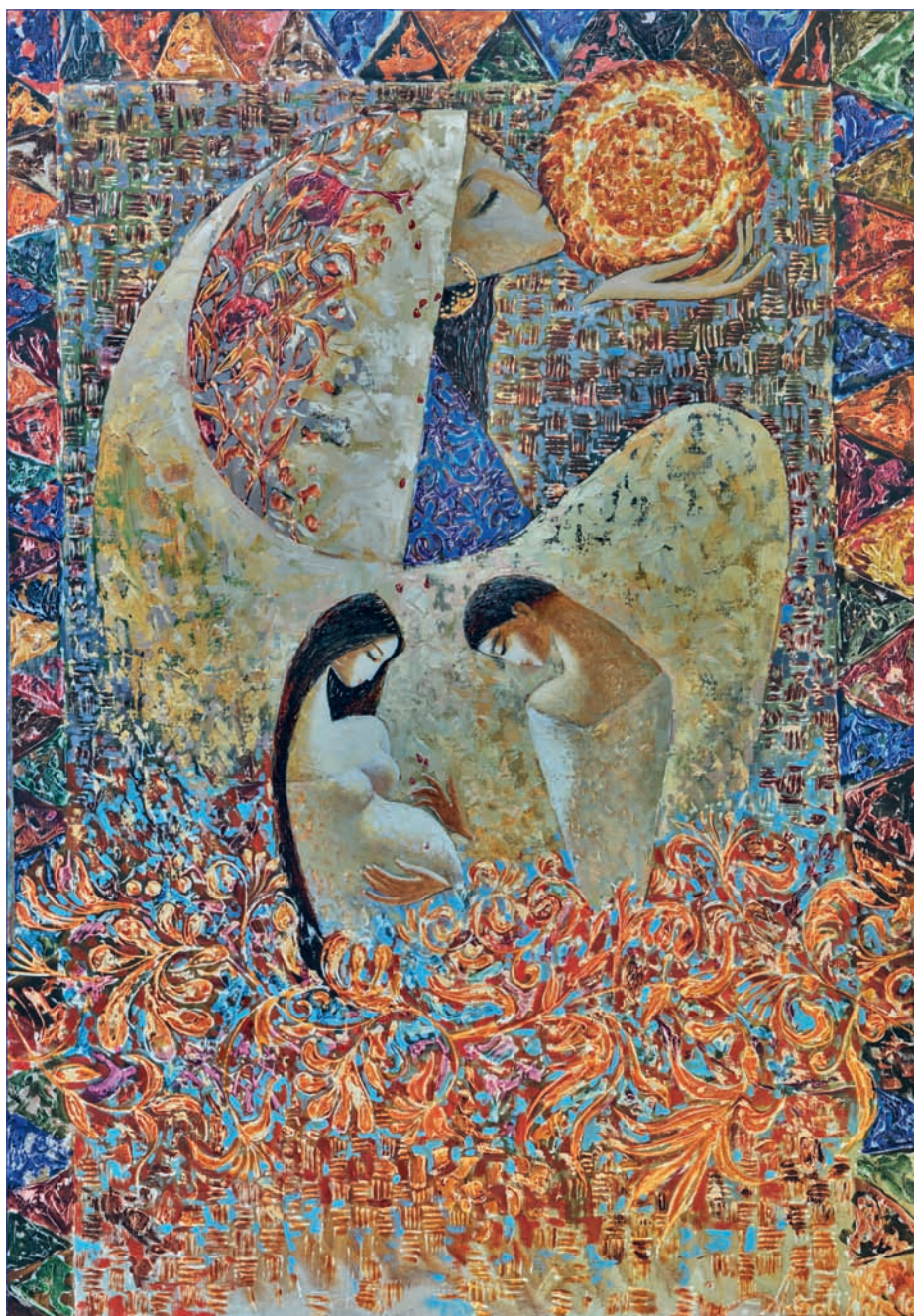
Леким Ибрагимов

ПОХИЩЕНИЕ АЗИИ. 2002.
Холст, масло



Масут Фаткулин

НАТЮРМОРТ С ГРАНАТАМИ. 1983.
Холст, масло



Акмаль Нур

БОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛОД. 2012.
Холст, масло



Рахим Ахмедов

НАТЮРМОРТ НА ЖЕЛТОМ СЮЗАНЕ. 2004.
Холст, масло

Остановиться... Обернуться...

Читая исповедь Сейдахмета Куттыкадама

Рубрику ведет Лев Аннинский

«...Один из последних истинных и простодушных Евразийских Кочевников, умеющих с варварской непосредственностью смотреть в лицо фактам и видеть их в наготе и помнящих воинское искусство своих предков, — осмелился написать то, что написал...»

Написал — книгу. Одно из ярчайших моих читательских впечатлений последнего времени. И загадочных.

Называется: «Дао Алтай».

Что такое Алтай, объяснять не надо.

Что такое Дао — пожалуй, надо (чтобы не увязать в китайской древности): это — Предопределение. Или Предназначение. Или Предпочтение.

Сверхзадача книги — в подзаголовке: «Исток человеческой цивилизации».

Три с половиной сотни страниц текста, полного предположений, гипотез, загадок, отгадок. Еще сотня страниц ссылок и примечаний. Автор — Сейдахмет Куттыкадам — лидер казахской публицистики, список званий занимает еще целую страницу. Можно сказать, академик. (Редактор книги — Сергей Ключников — тоже академик, российский).

Я еще не настолько офонарел, чтобы решиться рецензировать издание, неприступно академическое по объему фактов и неприступно же необъятное по заявленной теме. Исток Человеческой Цивилизации — ничего себе, замах! Алтай как исходная точка этой Цивилизации — ничего себе, отмашка... Ученые, придерживающиеся других точек зрения, пусть рецензируют эту.

Я позволю себе лишь несколько свободных рассуждений по ходу чтения. Без всякой категоричности. В тексте книги — тоже никакой категоричности. Более того, сомнения лучатся из каждого утверждения или предположения.

Кстати. Virtuозное владение интонациями такого раздумчивого склада русской речи все-таки требует комментария. Наш казахский друг писал книгу по-русски, я должен снять шляпу перед его русским языком — так он им владеет. Что я и делаю. И приступаю к диалогу с Сейдахметом Куттыкадамом по свободно избираемым мною вопросам.

Мой первый вопрос: что можно сказать о нынешней ситуации, имея в виду взаимоотношения народов — в глобальном масштабе? То есть оставив в стороне казахско-русские сюжеты (сжато описанные в последней части книги). Пережитый с неуходящей болью 1986 год, когда вольный тюркский дух взбунтовался против тоталитаризма, бунт был подавлен, но и советская держава почувствовала острые симптомы распада. С той поры взаимоотношения Казахстана и России как суверенных государств вышли на новый качественный уровень. Мой собеседник этой теперешней темы не касается, я — тоже.

Вопрос, на который я хочу найти ответ, касается глобальной, всемирной, всечеловеческой реальности. Как она мыслится?

Мыслится так:

«Ситуация все более напоминает глобальный мир во время вселенской чумы...»
«Человечество заблудилось в дебрях собственных бесполезных изобретений...»
«Весь мир растерян, не знает, что делать...»

При всей эмоциональности этих определений — они последовательны и бьют в одну точку. И в этой точке я абсолютно схожусь с Сейдахметом Куттыкадамом. У меня такое же ощущение. Человечество дошло до черты, за которой — неведомое будущее, если оно есть.

К перечисляемым при этом признакам глобального кризиса (оргия потребительства, авантюризм правителей, безответственность чиновников, самозабвенно-бессмысленные СМИ, безудержный в безнаказанности Интернет...) я бы прибавил агрессивность молодежи, не знающей, куда деть энергию. Эпидемия немотивированных убийств... Тысячи новобранцев, хлынувших в Исламское Государство в надежде найти оправдание скопившейся безадресной злобе... Очередь самоубийц, готовых к исполнению любого теракта...

В мои времена целые поколения готовы были умереть за свое будущее; теперь — ни будущего, ни прошлого: жизнь ровно ничего не стоит, ни своя, ни чужая...

Пахнет концом света? Именно мысль о конце побуждает проницательных людей во всех концах света задумываться о начале... Мой собеседник — один из них.

Возвращаясь мыслью к Началу, упираюсь в немедленный «детский» вопрос: исток человеческой цивилизации — не знал других вариантов? То есть: были ли и другие возможные истоки человечества или только один? Тут, кажется, мы расходимся с уважаемым оппонентом: он интуитивно тянется к осознанию уникальности, а я — так же интуитивно — к предположению, что вариантов земного осуществления было несколько и, может быть, иные просто отброшены. Это не значит, что упущен рай на земле — рай невозможен! — но возможны другие варианты Бытия, такие же трагические, как наш... Почему-то мне легче, если они есть.

А если реален в Истории Вселенной только один вариант (наш), значит... он и исчерпается до конца. И будет конец. Конец того, что можно осмыслить, конец того, кто может осмыслять. Не хочу!

Веря в этот единственный вариант, Сейдахмет Куттыкадам ищет исток человеческой цивилизации. Это — Алтай. Точка, от которой на протяжении тысяч и тысяч лет уходили на все четыре стороны света племена, помнящие или забывшие, кто они и откуда. Конечно, это гипотеза. Другие гипотезы ставят в такую точку исхода Гималаи, Памир, Кавказ, Альпы, Карпаты...

Кандидатура Алтая подкреплена десятками тысяч артефактов, найденных за последние десятилетия в долине реки Ануй на северо-западе Алтая. Двадцать два культурных слоя возрастом в двести тысяч лет. Плюс вера в эту гипотезу.

Нельзя исключить, что в грядущие десятилетия у археологов дойдут руки, и не менее весомые аргументы будут раскопаны... в песках Сахары, в дебрях Амазонки, в истоптанных могильниках Китая... И будут другие гипотезы. И откроется Истина в новых координатах. А смысл изменится? — спрашиваю я.

Меня воодушевляет то обстоятельство, что мой собеседник ищет Истину, вдумываясь не столько в замшелые легенды и продувные проповеди интеллектуалов, сколько в непреложные свидетельства Природы. Три великие религии Единобожия спорят между собой о том, чей Бог истиннее; о том же спорят расколовшиеся версии этих религий. А мой казахский собеседник, отметив, что на Алтае три главные религии изначально смыкаются, рисует пейзаж. В кого должен верить кочевник, в одиночестве пересекающий бескрайнюю степь? В Единственного Собеседника посреди этой пустоты. Именно в Одного, интимно реального...

«Величайшие пророки Единобожия: Заратустра, Моисей и Мухаммед были кочевниками, да и Иисус кочевал почти всю свою жизнь». Меня этот психологический этюд убеждает больше богословских штудий. Единобожие — ответ человека кочевью. Ответ одиночеству. В условиях Пра-Деревни или, тем более, Пра-Города сонм Богов будет и многочисленнее, и невнятнее. А тут — Природа: степь, солнышко над степью... И Един Бог.

А если солнышка станет слишком много? Это отразится на ликах всечеловеческой цивилизации? Еще как отразится! Неотвратимо и непредсказуемо. Вот еще один восхитивший меня фрагмент праалтайского мироописания. Солнышка стало больше; трава высыхает. Скоту мало корма. Для прокорма требуется все больше места. Арии из оседлого племени все дальше удаляются от места постоянного проживания и из оседлых жителей становятся кочевниками. То есть поручив себя Единому Богу, вырабатывают — на случай стычки с соседями — железную дисциплину и агрессивную крутость.

Этот характер постепенно прославился на все человечество: возникла арийская раса — непреклонная и целеустремленная; арийский символ удачи — свастика — стала перехватываться другими претендентами на арийский образ.

«В Европе они растворились среди древних кельтских, германских и западных славянских племен, оставив язык, мифы и тревожную память о своих победах», — пишет Сейдахмет Куттыкадам и завершает свой этюд фразой: — Нацисты, прослышав о том, что «череп и кости» имеют арийское происхождение, переняли их. Но придали зловещий характер, сделав отличительным знаком безжалостных и кровавых служителей смерти — «эсэсовцев». И в завершение: «Сейчас истолкование двух этих символов стало носить неприличный характер, и, наверное, пройдет не один век прежде, чем будет восстановлен их истинный смысл».

Я бы добавил: сейчас, когда реваншисты демонстративно пересматривают ход и итоги Второй мировой войны, эти символы в гитлеровской окраске опять гуляют по европейским столицам... А в небе по-прежнему гуляет солнышко?.. На мое сознание такие виражи всечеловеческой цивилизации накладываются ощущением какой-то горькой безысходности.

В истоке человеческой цивилизации Сейдахмет Куттыкадам выстраивает гипотетическую картину, схваченную железной логикой и волевым импульсом преемства. Но поверх этой мускульно-прочной гипотезы стелется отблеск непредсказуемости, отдающий обреченностью. Картина эпического разворота мировой цивилизации по ходу разворота вширь начинает напоминать картину растрат и утрат. Куда исчезают племена и народы? Жесткий ответ: они исчезают под копытами соседей-завоевателей. Если сопротивляются.

И все?! А если иные исчезают добровольно, приняв чужую систему ценностей: забыв свое имя, язык, традиции? Сколько угодно! Исчезновение подстерегает все племена и государства: и мелкие, крупные. Включая и таких гигантов, как империи.

«Первая мировая война сокрушила четыре империи», — подсчитал мой собеседник. Вслед за ним я подсчитываю, сколько вторая поставила под вопрос: две?...больше?

Да все империи смертны! Как я должен отнестись к этому фатальному ходу событий? Утешаться тем, что в 21-м веке останется великим только Китай? Меня такое предсказание мало утешает: я родился и вырос не в Китае, а в России, в Советском Союзе — в одной из мировых империй 20-го века. И я не просто принял факт своей национальной «прописки», я ее сознательно выбрал. Это мое личное решение: я — русский. Если исчезнет Россия (Московия, Русь), смысл моей личности утратится. Личность жива, пока жива ее духовная идентичность. Моя мечта — чтобы Россия не исчезла.

И вот в уголке этой моей веры в Россию — скребется мысль о том, что когда-нибудь и она исчезнет!

Да что ж делать, если человеческая цивилизация, так вдохновенно возведенная к Единому Истоку в книге потомственного кочевника, неуклонного наследника тюрок, — идет по пути распада? И никак нельзя предотвратить такую перспективу...

Или попробовать?

Мой собеседник ссылается на современного американского футуролога Элвина Тоффлера: вслед за тремя волнами цивилизации — аграрной, индустриальной и информационной — должна прийти Духовная. Оговаривается: подобное предположение может показаться невысказанной утопией и вызвать откровенную иронию.

От иронии я далек, но некоторые сомнения меня посещают. В рай на Земле я не верю. Разве что такой рай будет веселить душу как предмет вожделения (морковка перед мордой запряженной лошади). Да и мой собеседник повторяет за мудрецами прошлого: земного рая нет и никогда не будет, но если к нему не стремиться, неизбежно падение в ад.

Адские детали нашего нынешнего бытия, наверное, поддаются выправлению. Укротить оргию потребления, унять рекламу удовольствий... Дать молодым идеи и цели, способные вытеснить беспредметную агрессивность, ищущую цели где угодно. Унять безумных лидеров агрессии. И еще — по тому же Тоффлеру: «корпорации должны уступить место университетам, а бизнесмены — ученым».

Да, так! По конкретным параметрам можно попытаться умерить безумие стержневой реальности, но как изменить изначальную природу человечества, которое неведомо как оседлало земной шарик, неведомо как уцелевший в представлении космических миров?

Только если каким-то невообразимым образом природа Бытия переживет качественный скачок, подобный тому, который ее когда-то породил. Рая и в этом случае не будет. Человечество продолжит вечную и непостижимую тягбу Добра и Зла. Не знаю, мыслимо ли это.

Расстаюсь с моим казахским собеседником, благодарный ему за великолепную книгу, порождающую столь невысказанные эмоции, и завершу диалог чем-то вроде эмоционального самоанализа,

Итак, Авиценна или Декарт? То есть: «Совесть болит, когда она здорова»? Или: «Мысль — значит, существую»?

Я склонен к первому варианту. Но не потому, что Восток мне ближе, чем Запад. А потому, что русская душа не может окончательно решить, где она. По извечной ситуации Россия — между несходящимися краями. Между Востоком и Западом. Между Севером и Югом. Между законом и благодатью. Между режимом и бунтом. Между всемирным коммунизмом и кровавой платой за него...

Ни к какому краю прибиться не можем, но и соединить края, сопрячь, сцепить — не получается. Всем сочувствуем, никого не осчастливили. Совесть болит, но не потому, что здорова, а потому, что больна. В том варианте, как у Достоевского: больная наша совесть — обратная сторона нашей всеотзывчивости.

Так все-таки: Декарт мне милей или Авиценна? Декарт — чтобы мысль разрешить. Не как самоцель, а как путь к Истине. В Истине — смысл. Высший Смысл! Его ищу. А конкретный смысл нашего диалога точно определил на сегодня мой собеседник:

— Русские и казахи хорошо ладят между собой.

Именно!